Московские тетради (Дневники 1942-1943)

Всеволод Иванов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Из предисловия: Публикуемая часть дневников моего отца, писателя Всеволода Вячеславовича Иванова, относится к военному времени 1942–1943 гг., когда он был занят прежде всего журналистской работой: писал статьи для «Известий» и других ежедневных газет («Красной звезды», «Гудка», «Труда»). […] Дважды за время, в течение которого велся дневник, Иванов выезжал на фронт как военный корреспондент — ранней весной 1943 года под Вязьму и летом того же года — на Курско-Орловское направление (вместе с Пастернаком, Фединым, Серафимовичем). […] Дневник поражает искренностью. По нему читатель может судить о том, насколько верна часто цитируемая тютчевская сентенция о тех, кто посетил сей мир в его минуты роковые.

- Всеволод Иванов
  - Предисловие
  - Дневник. 1942 год
  - Дневник. 1943 год

Всеволод Иванов
Московские тетради (Дневники 1942–1943)

Предисловие

Публикуемая часть дневников моего отца, писателя Всеволода Вячеславовича Иванова, относится к военному времени 1942–1943 гг., когда он был занят прежде всего журналистской работой: писал статьи для «Известий» и других ежедневных газет («Красной звезды», «Гудка», «Труда»). И в этой повседневной деятельности, в то время необходимой, он поминутно сталкивался с теми редакционными или цензурными препятствиями, которые делали невозможной или чрезвычайно трудной публикацию тех его произведений, над которыми он работал в те годы, как, например, сатирический роман «Сокровища Александра Македонского» (фрагменты начала одного из его вариантов опубликованы посмертно). Его оригинальная манера письма, бурная фантазия, не знавшая удержу, своеобразие образов и всего восприятия мира не укладывались в положенные рамки официальной советской литературы. Он считался одним из ее основателей, но продолжение его собственно художественной (а не только публицистической) деятельности было до крайности затруднено. За ним оставалось имя, созданное произведениями 1920 годов, значительная часть которых тогда и потом не переиздавалась (как книга рассказов «Тайное тайных», которую он по справедливости сам считал лучшей и которая подвергалась самым неистовым и время от времени возобновлявшимся, как в послевоенных директивных статьях Фадеева, гонениям). Он находился в положении писателя, в основном пишущего «в стол» — не для печати (оставались в рукописи два его романа — «У» и «Кремль», которые он тоже причислял к числу своих лучших произведений; только много лет спустя после его смерти моей маме Т.В.Ивановой1 ценой сверхъестественных усилий удалось их издать, поначалу с цензурными изменениями и купюрами). Психология писателя, обреченного на это двойственное существование — советского «классика» и подпольного автора вычитывается из дневников, иногда безысходно мрачных.

Вернувшись в 1942 году из Ташкента вместе с женой, Т.В.Ивановой, Всеволод Вячеславович не мог жить в своей квартире2; несколько месяцев они прожили в гостинице «Москва» вместе с несколькими старыми друзьями (ленинградская писательница Ольга Форш и украинский поэт Микола Бажан, с которым их связывала дружба, завязавшаяся еще перед войной) и другими писателями и людьми искусства, вечерние беседы с которыми описываются в дневнике. В более привычной

обстановке Иванов оказывается начиная с зимы 1943 года, когда он переселяется обратно в свою квартиру в доме писателей на Лаврушинском. Вскоре в Москву съезжаются прежние друзья из братства Серапионов — Зощенко, Федин, Слонимский, устраиваются чтения написанных ими новых вещей, где подводятся итоги пережитому: Зощенко, особенно высоко ценивший ранние сочинения Иванова, в своем номере в гостинице «Москва» читает привезенную им из Алма-Аты автобиографическую книгу «Перед восходом солнца»; Федин, с которым Иванов сблизился еще в самом начале своего вхождения в круг «Серапионовых братьев», читает у себя дома на Лаврушинском первые главы книги воспоминаний «Горький среди нас». Многим из них (меньше других — Всеволоду Иванову, в издательских трудностях которого мало что меняется) начинает казаться, что в литературе опять что-то можно сделать. Надежды рассеиваются после запрещения продолжения публикации в «Октябре» книги Зощенко и газетной кампании против нее и мемуаров Федина.

Из близких друзей в Москву возвращается из Чистополя Пастернак. Он и его с Ивановыми общие друзья философ Асмус и художник Кончаловский (до войны написавший два превосходных портрета Иванова) вместе с уже упомянутыми выше, приехавшим с фронта поэтом Сельвинским (автором подвергшегося разносу в «Правде» патриотического стихотворения «России» «Хохочет, обезумев, конь…», которое в этом, первом варианте нравилось и моему отцу, и Пастернаку) и немногими другими, составляют ту московскую интеллигентскую среду, которая начинает все чаще собираться у нас дома (как это было и в предвоенные годы): их объединяет интерес к основным проблемам искусства и мироздания — помню оживленное обсуждение с Асмусом книги Андрея Белого о Гете и Штейнере, которая была у отца в его обширной библиотеке, включавшей все основное, изданное по философии на русском языке, именно эти книги он читал чаще всего. К тому же кругу знакомых принадлежал и часто упоминающийся в дневнике бывший деятель Коминтерна Б. Д. Михайлов, с которым отец любил обсуждать складывавшуюся военно-политическую обстановку, их обоих чрезвычайно заботившую. Михайлов, отлично знавший несколько языков, регулярно слушал иностранные радиопередачи и чуть не еженедельно посещал нас, давая краткий обзор всего, о чем умалчивали наши газеты, В разговорах с Михайловым отразились разделявшиеся отцом всеобщие волнения по поводу времени, когда союзники откроют Второй фронт. Михайлов был арестован и расстрелян в послевоенные годы. Репрессиям из собеседников

тех лет, о ком Иванов с симпатией упоминает в дневнике, подвергся и молодой физик Миша Левин (я подробно пишу о нем в воспоминаниях, недавно напечатанных в «Звезде»).

Дважды за время, в течение которого велся дневник, Иванов выезжал на фронт как военный корреспондент — ранней весной 1943 года под Вязьму и летом того же года — на Курско-Орловское направление (вместе с Пастернаком, Фединым, Серафимовичем). Самая длинная поездка на фронт состоялась позднее — в конце войны — и, кроме большой серии статей, отразилась в романе «При взятии Берлина» (по-русски отдельной книгой ни разу не печатался; кроме журнальной публикации есть только шведский перевод).

Дневник поражает искренностью. По нему читатель может судить о том, насколько верна часто цитируемая тютчевская сентенция о тех, кто посетил сей мир в его минуты роковые.

Вячеслав Вс. Иванов,
действительный член Российской Академии наук,
Директор Института мировой культуры МГУ

Дневник. 1942 год

24 октября. Суббота

…Мы приехали к аэропорту в 11.50. Мелькали красные маяки. У столов, покрытых клеенкой, дремали военные. Тамара легла в плоское, похожее на миску, кресло, тоже обитое клеенкой, только черной, — и задремала. Цветок, неимоверно разросшийся в ширину. Буфет пустой, под красное дерево, с двумя стеклянными полосами по краям и с одной посередине, по бокам украшенный широкими полосами алюминия. Белые шары ламп. Полки похожи на расколотый карандаш. Только белым по красному кумачу: «Смерть немецким оккупантам» да пустой буфет — напоминают о войне! Города не слышно. Дождь как будто прекратился. Изредка доносятся гудки паровоза, да что-то непрерывно гудит, как испорченное паровое отопление, — маяк, что ли… неужели уедем?

Читаю Вольтера.

25 октября. Воскресенье

Сдали багаж, купили билеты и уселись в машину ровно в три ночи, причем мало-помалу стало выясняться, что мы единственные платные пассажиры. Остальные — или дети и жены летчиков, или просто их знакомые, которых «подвозят». Ни проверки билетов, ни документов.

[…] В состоянии ослепительно-прекрасном идем на высоте двух тысяч метров. Внизу то лунные кратеры, то река, словно бы заледеневшая; хотя и знаешь, что льда нет, но все же не веришь; то озера розовато-мутные, из застывшего стекла, то ниточки-тропы, — ни жилья, ни дымка. Заснули. Через час-два — та же картина. Опустились в Дма… черт его знает, как он называется. В сумраке пошли искать вокзал. Вокруг степь, два-три домика. […] Пробившиеся женщины ищут какого-то мужчину, из нашего самолета, который «знает», где рис. Пошли и мы, к нам подошел страж, в тулупе, с винтовкой. Украинским говорком, ласково, он спросил: «Чего ищете?» — по его тону все стало понятно. Тамара сказала:

— Мы ищем рис.

— Рис есть. Есть десять кило. Можно больше…

Он вошел в домик. Постучался. И вернулся на пост. Жена, худая женщина в очках, достала из-под кровати мешок риса и стала мерить кружкой: «Полкило, точно!» Вообще я заметил, что там, где именно неточно, все повторяют протяжно: «То-о-очно»! Мы насыпали рису в шляпу — три кило, в карманы — по одному кило.

В Актюбинске пили горячую воду. Начальник аэропорта сказал, что мы полетим через Казань, где и заночуем. […] Я передал бумаги для Лозовского, посланные Лежневым, какому-то чину из НКВД, который посетовал, что бумаги — «не в пакете». «А вы читайте себе их на здоровье, — сказал я, — будет хоть единственный читатель». Это были рукописи ташкентских авторов «Для Ближнего Востока».

Началась изумительно красивая Волга, которую я впервые вижу с самолета, если не считать коротенького полета над Горьким, […] Преобладает нежно-лиловый; но осины чудесны! Я долго вспоминал, на что они похожи, — затем вспомнил: узоры голубо-синим, — с жемчугом, — на плащаницах. Наши предки не летали, но видели мир не хуже нас. Озера в желтых берегах. Костры. Какие-то знаки для самолетов — из соломы — может быть, макеты искусственных аэродромов — отвод глаз немцам. […] Крылья то поднимаются, то опускаются, из-под них видны стволы деревьев, овраги, деревни из-за соломенных крыш кажутся разрушенными. Очень редко мелькнет церковь. Шоссе. Машина… «Москва, Москва», — слышно в самолете… Опускаемся. Кто-то из экипажа, пробираясь через тюки, говорит:

— Горький. Москва не приняла — шторм.

Аэродром в семнадцати километрах от города. Район заводов. На трамвае невозможно. Долго добивались койки. Наконец Тамара пошла и объяснила начальнику порта, кто я. Диспетчер стал любезнее. Дали обед — вода с вермишелью и каша с салом. Голова от качки болит. В тесовой комнате, вместе с нами, спит какая-то семья военного, которая летит из Чкалова в Молотов. Пересаживались в Куйбышеве — «В Куйбышеве спали на полу…» Какая странная игра фамилиями!

На аэродроме — как и всюду — полная чепуха. Пилот должен сам открывать самолет. Но ему лень, и он дает ключ дежурному. У дежурного нет фонаря, — и в самолете он спокойно помогает отыскивать нам вещи при свете спичек. В корзине яблоки. — «Из Ташкента? У нас и в помине нет!» Тамара дает человеку с красной повязкой на рукаве яблоко и он кладет его радостно в карман. «Детям» — как выясняется позже. Он идет с нами и жалуется «на голодовку». Да и верно — стакан проса стоит 25 руб., табаку — от 30 до 50 руб., водка литр — 450, а в Куйбышеве, как говорят нам соседи по комнате, — 800 руб., о Ташкенте расспрашивают все. Пилот Холмогоров, гордый, как все капитаны, идет в темноте аэродрома и небрежно отвечает на наши вопросы. «Полетим. Нет, не на Ходынку, а на Центральный». Окна вокзала освещены, а в прошлом году, как сказал сосед по комнате: «Мы на этом аэродроме 130 зажигалок поймали».

26 октября. Понедельник

Проснулись в 6 утра. Солнце играет в лужах. Глаз отдыхает на белом березы, и на черном — земля. Летят вороны стаей над аэродромом. Машины протирают бабы в желтых американских ботинках. Самолеты — по зеленому темные пятна. Вокзал — по зеленому белая береза. Съели гуляш — мясо с кашей, три блина — и полетели.

[…] Облака летят низко, метров на 300. Высокое небо ясно, но подняться мы не можем, и потому летим, рассекая облака. Впрочем, солнце довольно успешно пробивается сквозь них. Прибыли. […]

Затем: ожидание в здании аэропорта, тщетные попытки дозвониться. Сели в метро. Первое ощущение в вагоне — радость.

27 октября. Вторник

Был у Чагина.

— Все тут читали. Роман признают оторванным от жизни.

— Значит, печатать нельзя?

— И в журнале неудобно…

— Журналы твои меня мало интересуют. «Новый мир» взялся читать.

На глиняном лице Чагина появилось недоумение. Он вызвал главного редактора. […]

— Вот он говорит: «Новый мир» печатает.

— Значит, есть указание…

Вечером я пошел в «Известия» и оттуда по телефону позвонил к Щербакову:

— Я прошу вас принять меня.

— Хорошо. Приходите завтра в 1.30.

28 октября. Среда

Ровно в 1.30 я был у Щербакова. Толстый, в хаки, он встал и сказал спокойно:

— Садитесь. Я вас слушаю.

Слушал он меня хорошо, но ни с чем не соглашался, так что разговор временами походил на «да и нет». Например, я говорил, что у нас нет литературы о войне… Он говорил: — «Нет» — и показывал мне «Радугу» и «Русские люди». […] С одним только моим утверждением, что газеты не расклеивают на улицах, а значит, они минуют широкие массы, он согласился. […]

29 октября. Четверг

Перебирал книги. Растащили кое-что, но по философии все книги целы. Получил деньги в «Труде» за очерк. Ходил по книжным магазинам, комиссионным и рынкам. Книг немного. Больше почему-то классики, также как и в 1920 году. Такой же опрятный город… холод на лестницах, дрова на улицах. Зашитые

и потрескавшиеся от времени сапоги, стоят 2500 руб.; часы обыкновенные, трехрублевые, — 1500 рублей. Продают на пустом прилавке желуди стаканами и капустные листья. Темная, тесная толпа на рынке, как и в 1920 году, возле мешков с картошкой. […]

30 октября. Пятница

Пытаюсь писать, но статья не выходит. Ночью позвонил Чагин — просил прийти. Днем были у Кончаловских. Петр Петрович рассказывал о немцах в «Буграх» — резали холст и в разрезанные картины зашивали посылки. Домой слали все…

— Народ рассердился, и мальчишки катались на трупах немцев с гор «ну, милая, вези!».

Ольга Васильевна сказала Тамаре:

— Мне дали категорию, как дочери Сурикова.

Забавно! Жена Кончаловского не может получить питание, а она же — дочь Сурикова — получила. […]

1 ноября. Воскресенье

Ходил в Лаврушинский. Лестница освещается лучами сквозь прорванную бумагу, на площадках побуревшие мешки с песком, а секции отопления сняты. Внутри холодно, но пыли мало. Книги раскиданы по полкам в беспорядке удивительном. Я взял «Философский словарь» Радлова и роман Кервуда, — и ушел в тоске.

Зашли Ливановы и Бабочкин, — Бабочкин послезавтра летит в Ленинград, везут картину «Ленинградцы». Он в хаки.

[…] Пришли Пастернак, Ливанов и Бажан. Какие все разные! Пастернак хвалил Чистополь и говорил, что литературы не существует, т. к. нет для нее условий и хотя бы небольшой свободы. Как всегда, передать образность его суждений невозможно — он говорил и о замкнутости беллетристики и о том, что государство — война — человек — слагаемые, страшные по-разному. Ливанов — о Западе, о кино, о том, что человек Запада противопоставляет себя миру, а мы, наоборот, растворяемся в миру.[…] Бажан — о партизанах, о борьбе на Украине. […] Затем Пастернак заторопился, боясь опоздать на трамвай, было уже одиннадцать, — и ушел, от торопливости ни с кем не простившись. Бажан сказал:

— Я давно мечтал увидеться с Пастернаком, а сейчас он разочаровал меня. То, что он говорил о литературе, — правда, редакторы стали еще глупее, недоедают что ли, но разве можно сейчас думать только о литературе? Ведь неизбежно после войны все будет по-другому.

Неизбежно ли? Бажан и не замечает, как он говорит устами газетчика, дело в том, что Пастернака мучают вопросы не только

литературы, но и искусства вообще. Как иначе? Слесарь и во время войны должен думать о слесарной работе, а писатель тем более.

5 ноября. Четверг

[…] Капица сказал на собрании академиков, где обсуждалась книга «25 лет советской науки» — было неинтересно. Нам незачем хвастаться, лучше, если б о нас писали другие. Вот если б о советской науке написали бы иностранные ученые, это было бы полезно и им и нам. Он же сказал: «У нас держатся за хвост факта. А в газете факт должен быть особенный. Например, если вас укусила собака — это не газетный факт. А вот если вы укусили собаку — это уже интересно. Если собака укусила премьера — это любопытно, а если премьер укусил собаку — это уже сенсация!»

[…] Москва? Она странная, прибранная и такая осторожная, словно из стекла. Из-за дороговизны водки, а главное — отсутствия ее — совершенно нет пьяных. Дни, до сегодня, стояли солнечные и теплые. Я обошел много улиц, но ни у одного дома не встретил стоящих и беседующих людей, которых всегда было так много в Москве. Так как продуктов мало и все они истребляются, то улица чистая — нет даже обрывка бумаги. Возле нашего дома на Лаврушинском бомбой отломило угол школы. Сила воздушной волны была такова, что погнуло решетку, прутья которой отстоят довольно далеко друг от друга.

[…] Читал Владимира Соловьева — о теократии. Несомненно, он мечтал об объединении не только католицизма с православием, но и еврейства и магометанства. Мне думается, что несколько фраз, — почти буквально, перескочили из Вл. Соловьева в мою статью о «Москве», да я и прямо процитировал его — то-то удивятся «философы», когда прочтут цитату из Соловьева на страницах «Известий».

6 ноября. Пятница

Самое удивительное, пожалуй, быстрота, с которой течет время в Москве. Встал. Умылся. […] Сходил за карточками в Краснопресненское бюро, получил, зашел за книгами в Лаврушинский, пообедал — и дня нет. Тамара пошла за хлебом, я включил радио, и вдруг заговорил Сталин. Он говорил с сильным кавказским акцентом, выговаривал вместо «б» — «п», булькала вода, в конце фраз у него не хватало голоса, и он говорил совсем тихо. Вся гостиница замерла. Нет ни шагов, ни голосов. Я сидел на розовато-коричневом узком диване, против меня стол под красное дерево, голубая, покрашенная масляной краской стена, на ней гравюра в сосновой рамке — Баку, старый город — вдали нефтяные вышки. На тоненьком ночном столике микрофон — и

оттуда несется голос, определяющий судьбы страны, войны. Голос иногда неправильно произносит слова, не договаривает их, — к концу речи он, видимо, слегка устал, — но как волнительно…

Пришли Тамара, Николай Владимирович и Сейфуллина. Она зачесывает волосы назад, маленькая, глаза навыкате, носик; на ней кофта из плюшевого белого заграничного одеяла — и к одеялу этому прикреплен орден. Разговор профессиональный — кто, что, о ком написал. Рассказала о Милочке — своей племяннице — та, коммунистка и военврач 3 ранга, поехала из Ялты на пароходе «Абхазия», — несколько бомб, пароход затонул. Но к Книппер-Чеховой приехал какой-то партизан и сказал, что М.П.Чехова и племянница Сейфуллиной ушли с партизанами в горы! […]

7 ноября. Суббота

Праздничный завтрак в гостинице: манная каша без молока, но с маслом, — ложек пять и около двух третей (остальное подавальщицы отливают себе — я видел) стакана какао, на воде, но с сахаром.

Утром читал «Записки русского охотника» Аксакова. Великолепно! Затем «Критику основных начал» Соловьева. Начало слабое, но, когда Соловьев начинает пересказывать Канта, — хорошо. Вообще, в нынешнее время там, где хоть сколько-нибудь пахнет внутренней свободой, вернее, победой над самим собой, — приятно себя чувствуешь. Говорят, введут погоны и звание офицера. Как странно! И звание это, опошленное всей российской литературой, и эти ненужные кусочки сукна на плечах, уже стали через 25 лет романтическими.

[…]Окно в морозных узорах — левое, правое уже оттаяло. Прямо — крыши дома, белые карнизы этажей, за ними темно-серые тучи, за Историческим музеем, сквозь легкий слой льда на окне, видны, как запекшаяся кровь, на фоне желтоватых туч, что у горизонта, две Кремлевские башни. Летят снежинки — их немного. Приятно видеть их. Слышны аплодисменты в рупор. Сейчас будет вновь повторена речь Сталина, записанная на пленку. Вон она уже переливается эхом на кирпичных, пустынных улицах, изредка заглушаемая гудками автомобилей. Снег падает чаще, приглушая голос. Уже наметено его достаточно, чтобы явственно разглядеть скрепы между железными листами крыш. По краям слуховых окон чердаков его еще больше. Тучи над крышей гостиницы разорвало, видна золотистая пленка, еще не открывающая небо. Четко заметна проволока радио гостиницы на двух шестах.

[…] Выставка называется «Великая Отечественная война» […] Есть улица, взрывы в поле, корабли, взлетающие на воздух,

неправдоподобное пламя, — но нет самой настоящей войны, — даже быта нет, улыбки, жизнерадостности — лица у всех исковерканы гримасами, а издали все картины похожи на обложки табачной коробки. Есть несколько правдивых картин о страданиях Ленинграда — и правда, как всегда, побеждает, — впрочем, великолепная ложь тоже побеждает, но в описании Москвы даже нет этой великолепной лжи. Плох П.Кончаловский — «Где здесь сдают кровь». Я вот вижу донора — Николая Владимировича, брата Тамары. Он не работает, а живет на то, что дают по донорской карточке. А не работает он потому, что жена его боится оставаться ночью одна (работать, как инженеру, ему приходится ночью). […] У ней опухоль на груди. […] Здесь и любовь плотская, и человечность, и долг перед Родиной. […] Поэтому картина Кончаловского «Где здесь сдают кровь?» так же далека от крови, как и страстная неделя от подлинных Страстей. […]

Что такое авторитет? Возможность высказывать те мысли, которые остальным высказывать запрещено.

Вечером были на «Фронте», в МХАТе. Пьесу играют три театра сразу вернее, все наличные театры Москвы. Говорят, она в Малом идет лучше, чем во МХАТе, но я этому не верю — уж очень она плоха. Люди, как лошади, разделены на старых и молодых, — и талант молодого не оправдан драматургически. Знание фронтовых дел не помогает, а мешает драматургу, он говорит о наступлении так детально, что не поймешь — о чем они спорят? Пьеса похожа на то множество «производственных» пьес, которых мы видели порядком. Публика сияет орденами. У Немировича-Данченко в комнатке, позади директорской ложи, какие-то герои с золотыми звездами на черных костюмах. Тарасова говорит мне шепотом:

— Я только что с фронта. В 30 километрах от Москвы — стреляют и все движется…

На столе бутерброды с колбасой, вода с яблоками, чай — и даже, когда Немирович, весь от старости в красных пятнах, приказал — помявшись, принесли вазочку с сахаром и поставили перед ним. У стола в сиреневатом френче и штанах стоит Поскребышев, секретарь Сталина. Лицо широкое, монгольские узенькие глаза. Он только спрашивает, но сам ничего не говорит.

Народ очень весел и радостен, словно война окончена. Жена Чагина в черном шелковом платье, а сам он в ватнике. Пастернак сказал о пьесе:

— Если бы пьесами можно было выигрывать сражения, я смотрел бы на нее ежедневно. Но раз нельзя, то зачем ставить?

Билетеры бледные, исхудавшие — здороваются радостно. Что

произошло? Чему радуется этот странный, легкомысленный народ?…

Вышли, и тьма холодная, ветреная, мерзкая охватила нас. От тьмы отделяются, вспыхивая, скользят силуэты машин. За городом — вспышки пламени, но так далеко, что гула выстрелов нет. Вестибюль гостиницы пуст. В лифте, вместе с нами, поднимается юморист Ленч. Он тоже был на «Фронте», но в театре «Драмы».

— Ну как?

— Скучно, — и видно, что так скучно, что он не может подобрать определения.

Кстати о «Фронте». Позавчера Н.Никитин в нашем клубе сказал Тамаре:

— Я хотел прийти к вам сегодня, но дело в том, что сегодня я иду на «Фронт».

Стоявший рядом Пастернак, не поняв его, спросил:

— Как? Пешком на фронт?

8 ноября. Воскресенье

Утром писал рассказ «Русская сказка». День морозный, ясный, безмолвный, — вчера он весь был наполнен рупорами радио.

[…] Вечером — «Двадцатипятилетие советской литературы». Колонный зал. Не больше трети, остальное пусто. Сидит рядом Н.Асеев, курит какие-то сырые сигаретки, которые постоянно тухнут, по другую сторону Эренбург, в меховой жилетке, тяжело дышит и возится с зажигалкой, которая не горит. […] Фадеев монотонно, как дьячок, читает доклад — кто пишет: перечисляет фамилии (избави бог, кого-нибудь забыть!), тоска смертельнейшая. Я с ним не поздоровался — рассердился, и читал оттого плохо. Кроме того, по залу видно, что я никому не интересен, — да и они мне тоже, ибо пусть литературу вслух читают актеры, а не мы […] на душе невероятно тягостно. Великая русская литература. В какую пропасть мы сбросили тебя? Возглас патетический — но справедливый.

9 ноября. Понедельник

… Читал Джека Лондона «Рассказы»: в каждом почти — слабый человек под влиянием сильного крепнет и делается сам сильным. Вечером пошли к Асмусу. В квартире холодно — и топить, наверное, совсем не будут. Жена Асмуса показывала сшитые ею самой меховые чулки. Дочка сидит в ватнике и перчатках. Пришел Б.Д.Михайлов, в военном, похудевший. Он говорил, что высадка американцев — это демонстрация для нас, т. к. мы можем выйти из войны. Немцы с нами заигрывают настолько, что доклад Сталина — с купюрами, конечно, напечатан в немецких газетах. Что же касается похода немцев на

Москву, то немцы пишут, что здесь Сталин поддался английской агитации…

— Будут ли бомбить Москву?

— Нет, зимой не будут, — ответил уверенно Михайлов.

Нас так убедили в невозможности Второго фронта, что весь город, не обращая внимания на высадку американцев в Северной Африке и воззвание де Голля, где говорится, что американцы высаживают огромные силы, — говорят не об этом, а о том, что местоблюститель патриаршего престола назвал Сталина «богоизбранным».[…]

Жена Пастернака просит его привезти касторового масла для светильника. Масла на вечер надо полстакана. Сколько же Пастернак должен его набрать?

10 ноября. Вторник

Днем был у Еголина в ЦК. Долго блуждал по переулку, разыскивал 4-й подъезд, и вид у меня был, должно быть, такой странный, что охранник, проверявший пропуск, долго и внимательно его рассматривал. […]

Кого бы я ни встречал и с кем бы ни говорил — мой роман никого не трогает. Или я не представляю большой ценности, или же, если представляю, то на искусство всем наплевать! Да, и вообще, об искусстве никто не говорит.

[…] Вечером пришли Н.Никитин, — смирный, потерявший все свое нахальство былое и уверенность, голодный Андроников, сонный, и с жадностью евший хлеб, Б.Д.Михайлов в сапогах и брюках с наколенниками, рассказывавший, как пять суток шли две армии из окружения, как, спеша на спектакль группы вахтанговских актеров, его знакомый капитан наскочил на мину и взорвался. Был дождь — надо было расстрелять часового, что пустил капитана на минное поле — и комполка приказал написать, что капитана разорвало вражеским снарядом. Другой раз разорвало корову, — бойцы стали подбирать мясо. Животные в лесу привыкли к людям, а люди, занятые взаимным истреблением, животных не убивали.

…Михайлов сказал:

— Во всем доме сейчас нет котов, и я оставляю на столе хлеб и масло, мыши не трогают, убежали. У меня на квартире 4 градуса тепла. Ночую в Информбюро в бывшей квартире германского посла.

Пришла Евгения Казимировна в меховых сапогах из замши, сшитых оперным костюмером. Стала говорить о том, что Б.Ливанову тесно в Художественном театре. Из слов ее можно было понять, что Ливанов перерос всех на голову. Они дружат с Корнейчуком. Ванда Василевская на вопрос, почему она ходит в

штанах, ответила, что она и не мечтала носить форму Красной Армии, а раз ей разрешили носить, она ее ни при каких обстоятельствах не снимет. Я всегда думал, что пафос может принимать самые странные формы.

Та же Евгения Казимировна в сильном волнении. С.Михалков сказал ей, он только что приехал с фронта, — что немцы начали наступление на Западе.

Михайлов сидел долго — ему, по-видимому, хотелось что-то сказать мне, но Андроников пересидел его, — и он ушел. Он же сообщил, что Петэн назначил своего заместителя адм. Дарлана командующим африканской армией. Дарлан прилетел, и его взяли американцы в плен, вместе с тем, кого он должен был сместить… Говорят, что немцы хотят заключить мир с Францией, чтобы та присоединилась к блоку «оси» и вступила в войну. Американцы? И даже осторожный Михайлов сказал:

— Возможно, что высадятся в Марселе, Сицилии, а может быть, в Греции?

— Сталин говорит, что Второй фронт будет тогда, когда с нашего фронта отвлекут 80 немецких дивизий, и он прав…

11 ноября. Среда

Утром позвонил Войтинской. В доме у ней холодно, она говорит простуженным голосом. Разговаривали об авансе, который мне обещали выписать «Известия». Затем она сказала:

— В три часа ночи мне позвонили взволнованным голосом и сказали, что они открыли Второй фронт: они высадились в нескольких местах…

— В Европе или в Африке?

— Не знаю точно, но это были новые телеграммы. […]

Вскоре позвонил Михайлов. […] Я ему сказал о Втором фронте. Он ответил презрительно:

— Наверное, высадку в Африке они и называют Вторым фронтом.

Тема для карикатуры. Человек стоит перед московскими афишами, на которых всюду напечатано: «А.Корнейчук. „Фронт“. И говорит: „Они не могут открыть второго, а мы сразу открыли четыре“».

У газет много людей. Читают через плечи друг друга — все об Африке. Всюду повеселевшие лица. Слух — правительство Виши переезжает в Версаль. Немцы оккупируют всю Францию.

Ходил в «Известия» и «Новый мир», в «Новом мире» Гладков говорит:

— В 1920 году было легче. Само собой, что мы были молоды, но, кроме того, была — свобода! — Он повторил многозначительно: — Свобода-а! […]

Затем, как и все, начали сравнивать — в каком городе лучше. Гладков рассказывал о голоде и холоде в Свердловске. Оказывается, что ни один город наш не приспособлен к войне. Всюду обыватели ненавидят приезжих, вредят, как могут, всюду нет воды, холодно, нет еды, грязно… тьфу!

12 ноября. Четверг

Немцы оккупируют неоккупированную зону Франции. Перемирие в Северной Африке. Немцы высадились в Тунисе.

Вечером — спектакль «Кремлевские куранты». Пьеса беспомощная, повторяет сотни подобных, но играют очень хорошо. Настроение публики — «еще более твердое», выражаясь языком дипломатическим, чем 7 ноября. Тогда было напряжение, казалось, все ждут — сейчас упадет бомба и надо будет бежать. Ходили углубленные в себя. Сегодня — смотрят друг на друга, смеются, обычная, пожалуй, с чуть-чуть повышенным настроением толпа у Художественного театра. У подъезда, как всегда в дни премьер, два ряда людей, спрашивающих: «Нет ли у вас лишнего билета?» Сидели рядом с Леоновым. Покашливая — от табака, он жаловался, что ему в эти два года было страшно тяжело, как будто кому-то было легче и он только один имеет право не страдать, не бегать, не голодать. Пьеса его уже принята во МХАТе. Лицо у него стало одутловатое, волосы длинные, — и если он раньше походил на инженера, из тех, что прошли рабфак, то теперь он — писатель. […] Удивительное дело, никогда он мне ничего дурного не сделал, да и я тоже, и между нами, в общем, были всегда хорошие отношения, но редко меня кто, внутренне, так раздражает, как он. По закону контраста, наверное?

Гусев сказал, что была речь Черчилля, в которой он сообщил, что русским было объявлено — Второго фронта в 1942 году не будет, и пикировка из-за Второго фронта происходила для отвода глаз.

13 ноября. Пятница

Рано утром принесли рукопись моего романа из «Известий». Войтинская не только не заикается о напечатании отрывков из романа, который они считают хорошим, но даже не печатают моей статьи. Душевно жаль историков будущей литературы, которые должны будут писать о нашем героизме, стараясь в то же время и не очернить людей, мешавших этому героизму. Чем дальше, тем винт закручивается туже. Любопытно, дойдет ли до какого-нибудь конца или это завинчивание может быть бесконечным?

[…] От детей письма и посылка: носки и 100 штук папирос. Комка прислал превосходнейшее письмо — обширное и ясное. Неужели этому быть писателем? И грустно, и приятно.

Различие в понимании слова «искусство». Приходила женщина-журналист из «Литературы и искусства», просила написать статью о выставке «Великая Отечественная война». Я отказался. Она при мне звонила какому-то критику. Тот отказался наотрез. Она сказала: «Я не была на выставке, но теперь и не пойду — все отказываются писать. А нам велено развернуть на две страницы». А все дело в том, что хочется, чтобы агитацию называли искусством, а искусство — агитацией. Правда, если б выставку назвали прямо агитацией, то туда никто бы не пошел, но ведь и сейчас никто не идет. […] По-моему, надо действовать благороднее — да, агитки, да, плакаты, написанные маслом по холсту, да, неважно сделано, но ведь другого нет ничего? Так давайте же попробуем хотя бы через агитку рассмотреть жизнь! Ведь видим, хотя и стекло запыленное и засиженное мухами, но все же не стена! […]

15 ноября. Воскресенье

Днем переделывал «Проспект Ильича». Так как глава о еретиках напугала наших дурачков, то я ее выкинул. Эта глава была стержнем, на котором висела глава вступительная — песня о «проспекте Ильича», и поэтому пришлось выкинуть и первую главу, а раз выкинул — надо менять и заглавие. Я назвал роман «Матвей Ковалев».

[…] Вечером — вернее ночью — зашли седой Довженко, важно рассуждавший об искусстве, его жена с великолепно сросшимися бровями, Ливанов с женой. Критиковали положение в искусстве страшно! Только когда я сказал, что критиковать-то мы критикуем, а сами все равно глядим в рот верхам, то критика смолкла. Вздор какой! Делают минет, а гордятся девственностью. Довженко скорбно и с гордостью спрашивал:

— Почему не прорвалось за все время ни одно произведение? Почему окровавленное, истерзанное, оно не взошло перед нами?

Я сказал, что нечего гордиться эпохой и считать себя великими. Все эпохи были велики, как и все войны казались их современникам ужасными. Только тогда, когда мы будем считать себя обыкновенными, тогда появится великое искусство. Если мы все обыкновенны, то нет ничего страшного в наших мыслях, и их можно выслушать, а мы считаем себя столь великими, что никого не слушаем, а только приказываем и кричим, да удивляемся, что приказаньям этим плохо подчиняются.

Выпал первый снег, плотно.

16 ноября. Понедельник

Исправлен «М.Ковалев». занятие оказалось более сложным, чем предполагал. Из Ташкента события рисовались несколько в розовом свете. Эта розовая дымка пафоса и реет над романом.

Здесь же в Москве, конечно, больше серости, чем розовости. После войны, года три спустя, роман в розовой дымке, наверное, был бы хорош, но сейчас, пожалуй, несколько слащавый. Вот я и снимаю эту слащавость. Трудно, ибо можно, невзначай, снять столько мяса, что и кость обнажится.

Безмолвие города по-прежнему висит надо мной. […]

И, — опять писал. Тамара ушла к брату. Пишу. Пробовал читать «Элементы логики», нет, не получается. Мысли бегут в сторону, жить не хочется, надежд, — трудно сказать, что никаких, ибо я мечтатель, — но, даже и при моей мечтательности и вере, — мало, хоть бы умереть случайно как-нибудь. Я боюсь, что из уважения к советской власти и из желания ей быть полезным, я испортил весь свой аппарат художника. Когда-то давно я изрезал на отдельные страницы словарь Даля. Я никогда не прибегаю к справкам словаря и мне казалось, что перепутанные как попало страницы легче читать. Я взял горсть страниц сюда, в номер, и теперь читаю их с наслаждением, почти совершенно непонятным. […]

Телешов, которому в среду справляют 75-летний юбилей, не берет литерный обед в столовой, потому что не позволяют средства. […]

Вчера Ливанов говорил, что с 1-го декабря введут погоны, ордена будут на лентах, денщики… они ужинали у какого-то генерал-полковника, и в номере, возле стола обедающих, с вечера до 4-х утра, простоял, вытянувшись в струнку, какой-то капитан. Ливанов сжалился и поднял бокал за его здоровье. Генерал сказал: «А!» Выпили, но капитана к столу не пригласили. […]

17 ноября. Вторник

Утром пошел к герою Н.Бочарову. Небольшого роста, горбоносый, белокурый, начавший лысеть молодой человек в гимнастерке и синих брюках. В 1939 году он аплодировал мне, будучи командиром взвода танкового полка во Львове, в Доме Красной Армии, когда я читал отрывки из сценария «Александр Пархоменко». Сейчас он — помощник командующего армии по политчасти. […] И вот теперь, три года спустя, я сижу в его номере и записываю его рассказ. Человек перешагнул гору, а я за это время?

Позвонили из «Нового мира», торопят с романом.

18 ноября. Среда

Утром родственница Маруси, нашей домработницы и воспитательницы детей, вернее няни, принесла мне бумаги. Ей 27 лет, простенькая, худенькая, в платочке, работает печатницей. Тамара спрашивает:

— А где ваш муж, Паша?

— А он под Сталинградом. Он в штабе Жукова, их туда перебросили.

— Какой у него чин?

— Да и не знаю, точно. Вроде капитан, что ли!

По прежним масштабам, Жуков вроде генерала Брусилова, — кто же был бы тогда этот капитан? Сын банкира, крупного промышленника, университетское, может, и академическое образование, — а теперь? И жена его не придает этому значения, да и он, небось, не очень — «направили на работу — и работаю». Отрадно, но и грустно.

Иногда думаешь, что знания отстают от должностей. Ложь «Фронта» не в том, что таких событий не бывает, что люди не хотят учиться, а в том, что учиться некогда, да и не у кого и самое главное — короткое время. Мы его укорачиваем, столетие хотим вместить в пятилетку, а оно, окаянное, как лежало пластом, так и лежит. […]

Тамара пошла к брату. Бедняга лежит уже неделю почти. От донорства он обессилел и болезнь переносит плохо — 38,7, он уже бредит.

Зашел в квартиру на Лаврушинском. Холодно. Трубы не нагреты. На лестнице темно. Переулок разгружен и подметен. Ни звука, ни телеги, ни автомобиля. Утром оттепель, к вечеру подтаяло. Небо в тучах и льдинки на асфальте блестят как-то сами по себе. Снег в канаве грязный.

[…] Весь город в кино: первый день идут «Три мушкетера».

19 ноября. Четверг

Обедал в Союзе, рядом с Леоновым. При дневном убогом московском свете видно, что он сильно состарился. Пониже щек морщины, углы губ опущены, лицо дергается. Зашли к нему. Кактусы. Мне кажется, он их любит за долговечие. Смотрели книгу «Правда о религии в России» — неправдоподобно, хорошо изданную. Так издавали только Пушкина в юбилей его смерти. Книга внушает какое-то горькое, неприятное чувство. Религия и попы не только не раздражают меня, но удивляют и наполняют уважением. Следовательно, вопрос здесь не в религии и попах, а в чем-то другом. Книга мне кажется нескромной, визгливой. Если это для заграницы, то все равно там книги издают лучше, и никого не удивишь, не поразишь. […] Леонов, как обычно, ничего не говорил о себе конкретно, а вздыхал неопределенно: что будет после войны, кто уцелеет, как дотянет, взорвется ли Германия сразу или будет тянуть? Также неопределенно и я ему отвечал, с чем и расстались.

Вечером — художник Павел Дмитриевич Корин. Раньше него пришла жена, круглолицая и молчаливая. Теперь она

разговорчива — но говорит языком, как бы определить, популярным, книжным. Так, например, она совершенно точно, словно для экскурсии, описала, как в Музее изящных искусств провалился от бомбы стеклянный потолок, чердак завалило снегом (это было в прошлом году) и когда оттаяло, то потекло в подвалы, где лежали картины. Летом картины вытащили в зал — сквозняк от выбитых окон просушит. Их обтирали пуховками. Белая плесень образовалась от лака. Но, очищать нельзя, т. к. мастичного лака нет… попозже несколько пришел Корин, в бобровой шубе, в сапогах и черной суконной рубахе — и тоже изменившийся, если не внешне, то внутренне. Он стал суетлив. Разговор шел об их жизни здесь, и как они писали плакаты в Большом театре. Упомянули о Кончаловском, о его религиозности. Тогда Корин сказал:

— Чтобы говорить о своей религиозности, надо выстрадать это право. Хорошо теперь быть религиозным, когда это можно, а что раньше? Кончаловский — артист. Талантливый, свою полку будет иметь в истории живописи, но это только художественная кожура, а не великий художник, как А.Иванов, Суриков, Серов, Нестеров. А он ведет себя как великий, и — не умно. Он не религиозен. Он играет в религиозность, как, впрочем, играет и в искусство.

От Кончаловского перескочили на капусту, которую заготавливает Корин, чтобы питаться зимой. С трех огородов он собрал два мешка картофеля, и тем сыт. В прошлом году, когда в городе ждали немцев, он отрастил бороду: «Я с виду моложавый, а борода у меня седая, думаю — не возьмут на работы». […] Два месяца, пока были запасы и пока ждали немцев, он не выходил из дома, и только ночью ходил гулять с собакой. Да растил бороду. Корин напоминает Леонова, Клюева. Когда они ушли, Тамара сказала:

— Может, это случайное наблюдение, но все наши знакомые, которые религиозны, из Москвы не уехали. […] Приехала Екатерина Павловна Пешкова.

20 ноября. Пятница

[…] Тамара пришла от Пешковых, принесла письма от детей, с припевом: «Здесь все хорошо, лучше, чем в Москве». Должно быть, им не очень хочется в Москву.

[…] Поздно ночью позвонил Ливанов. Пошли к нему. Он сидит расстроенный, без пиджака. В «Правде» напечатана статья о «Фронте», доказывающая, что Художественный и Малый театры ничто по сравнению с театром Горчакова. Т. е. Ливанов оказался в таком же положении, как и Горлов, которого он свергал в роли Огнева. Механически положение с комсоставом перенесено в

область искусства. Ливанов метался, ворошил остатки волос, кричал о себе, что он погиб, уйдет из театра:

— Мне дали понять, что это не пьеса, а играли «Фронт» как директиву!

Около часа пришел Корнейчук — с ватной грудью, поднимающейся к подбородку. Военный портной сказал ему: «У нас все генералы на вате». Было собрание генералов в Доме Красной Армии по поводу его пьесы. Началось с того, что генерал-лейтенант, с лицом как абажур, сказал:

— Известно ли товарищу Корнейчуку, что «Фронт» играется в Берлине?

Словом, охаяли, как могли.

21 ноября. Суббота — 22 ноября, воскресенье

Вечером были у Бажанов, здесь же в гостинице. Жена его рассказывала о трехмесячном, непрерывном бегстве. […] В воскресенье никуда не выходил, читал «Логику». […]

В десять — поразительное сообщение о нашем наступлении в районе Сталинграда. Понесли потери 18 немецких дивизий: 13 тысяч пленных, свыше 300 орудий. По гостинице начались телефонные звонки, поздравления… ночью, в постели, я подумал — снега еще мало, холодно — удачная погода для наступления? Или же это — демонстрация для того, чтоб оттянуть силы с другого фронта, где наступают немцы.

24 ноября. Вторник

Сидел вечером Бабочкин. Он прилетел из Ленинграда, а завтра отправляется в Ташкент. — «… Я не знаю почему это, может быть, закон природы, но дистрофиков — истощенных ненавидят. В вагоне ругаются: „Эх ты, дистрофик!“ Я был в Колпине. Городка нет. […]

— Ленинград в самом узком месте отстоял Ижорский батальон рабочих. Они держали это место девять месяцев. И теперь позади переднего края обороны посадили овощи […]

— Когда в Смольном посмотрели нашу картину, директор Путиловца сказал: „Ну что вы там какую-то муру снимаете? Вот вам пример, как мы жили. Звоню утром в гараж — нужна машина. Не отвечают. Звоню без пользы полчаса. Пошел сам. Горит печка. У печки кто греет руки, кто ноги, а кто просто дремлет шоферы, да вы что, мертвые? — кричу. Они действительно мертвы“.

— В Александринку зимой собрались уцелевшие актеры. Спали, лежали. Наиболее слабые были в котельне, где всего теплее.

Один актер сказал Бабочкину: „Из сорока я один уцелел“. […]

— Несмотря на то, что город в кольце и фронт начинается у Нарвских ворот, охотники все же ищут и находят зайцев. А заяц-

то может убежать к немцам! Но заяц — капитал — 5 тысяч рублей. Пальто стоит 200 рублей…

— Актеры ходили по нарядам, ночью под обстрелом, на вечера. В рюкзаках, обратно, несли воду. Холодно. И вместо воды — расплескивалась приносили иногда на спине ком льда».

Фронт. Бабочкин в гвардейской дивизии полковника Краснова. Он переправил через Неву дивизию, без потерь, — и увел обратно, заняв на том берегу позицию. Немцы думают, что стоит дивизия, а там рота. Когда дивизия стала гвардейской, он приказал отрастить усы, а женщинам — сделать шестимесячную завивку. Бывший агроном. В Финскую войну командовал в этой же дивизии взводом. […]

Мимическая сцена — как едят хлеб в Ленинграде: закрывает ломтик, оглядывается. Отламывает кусочек с ноготок, и его еще пополам. Кладет в рот, откидывается на стуле, и с неподвижным лицом ждет, когда крошка растает во рту, глотает. И опять к куску…

— «Ленинград, да, бомбят. По четыре налета в день. Все дома выщерблены, исковерканы. Вдруг видишь какие-то фанерные декорации, колонны на месте дома. У трамвайных остановок — зенитки».[…]

Во время рассказа — включаем радио. Сводки — «Три дивизии взяты в плен, 1100 орудий…» Необычайная радость охватывает нас. Бабочкин говорит:

— Осень. Как спелые яблоки потрясли, так они и осыпаются. Я думаю, к новому году — конец.

То же самое сказала Тамаре сегодня уборщица в номере.

— Товарищ Сталин обещал к концу года, ну и сбудется. Он этих Рузвельтов так подтянет, что они в месяц все дела закончат. […]

25 ноября. Среда

Холодные учреждения, грязь — и словно бы ветер в комнатах. У входа часовой — мальчишка, в будке — девушка в шинели с красными треугольничками на отворотах шинели. Это — ЦК ВЛКСМ. Множество неуютных комнат. Здесь, по-моему, больше, чем в ЦК партии должно быть торжественности, тепла и вежливости. Нет! С трудом нашли стенографисток. В накуренную комнату — два кресла, обитых дерматином, два стула, окурки и обрывки газет на столе, под стеклом телефон ЦК — вошли двое — юноша и девушка. Юноша, белокурый, лет восемнадцати, в куртке и валенках, девушка широколицая, румяная, в шинели и сапогах, постарше, ей лет 20–22. Это — партизаны, оба из Калининской области, прожили и воевали с немцами месяцев по восемь. Чтобы они разговорились, я сказал — кто я такой: «Может

быть, читали в школе или видели фильм „Пархоменко“? Книг моих не читали, но мальчик видел фильм: „Во-о, здорово!“

„Волнуясь и спеша“, крутя папиросную бумагу, но по школьной привычке не осмеливаясь закурить при старшем, мальчик стал рассказывать. Боже мой, что видел этот бойкий и смелый паренек! А что видела и испытала девушка? Я не буду записывать здесь их рассказы, так как напишу — по стенограмме — их рассказы отдельно. Для книги… Расставаясь, я сказал:

— Ну, теперь читайте, что напишу о вас.

Конфузливо улыбаясь, девушка сказала:

— Если уцелеем, прочтем. Мы ведь завтра улетаем на ту сторону. […]

26 ноября. Четверг

Днем переделывал роман. Сходил в Лаврушинский, взял книги… Вчера, хотя и сообщалось о 15 000 пленных, все же сводка многих, видимо, смутила. Уже поговаривают, что немцы в начале наступления не могли ввести в бой авиацию, теперь же ввели (а значит, остановили наши войска?).

[…] Вечером пришел П.Л. Жаткин. Был он полгода или больше у партизан. Рассказывал, как шел, голодал, служил банщиком, многое путал, так что если бы он рассказывал так следователю, который допрашивает партизан, перешедших фронт, вряд ли бы Петру Лазаревичу поздоровилось. Но, разумеется, страшного с ним случилось много, и нет ничего неправдоподобного в том, что дочь партизана убила отца-предателя и принесла в отряд его голову, или что комиссар отряда отрубил семидесятидвухлетнему старику предателю, ведшему немцев на партизанский отряд, руку. Или принимают в отряд, испытывают виселицей — струсил, значит, предатель, стал ругаться наш. […]

В полночь — „В последний час“. Наши с Запада, я так понимаю, вышли на восточный берег Дона. Значит, немцев действительно зажали? Среди трофеев, конечно, самое поразительное — 1 300 танков. Ведь это же целая армия! И также удивительно, что мало винтовок — 50 тысяч. А пленных 61 000.

Сегодня месяц, как мы в Москве.

29 ноября. Воскресенье

Художник Власов из Ленинграда. Послан был к партизанам — и остался у них. […] Сейчас он начальник разведки в штабе партизан. О партизанах рассказывал мало, больше о Ленинграде: как голодали, хоронили (в ящике от гардероба, в детской коляске). Как утром у Медного всадника кто-то положил трупик ребенка, ангельски прекрасного. Его заносило снегом. Дня через два, художник увидел, что мягкие части трупа вырезаны. Хозяева

вначале сами собак не ели, а дарили их трупы друзьям, позже стали есть. Существо рафинированное, ученик В. Лебедева, носит высокие ботинки, на шнурках, ватные штаны, заграничную куртку.

30 ноября. Понедельник

Вечером пригласил Корнейчук. Разговорились — и просидели до пяти часов утра. Говорили опять о слабости искусства, о его плохой пропагандистской роли; я что-то рассказывал им.

2 декабря. Среда

Даже и не знаю, почему — одолела лень, что ли? — три дня не записывал. Вечером, когда у нас сидели гости, позвонил Корнейчук и говорит:

— А мы ждем вас!

— Почему?

— Да ведь мы же сговаривались, что ты будешь у нас читать повесть о море.

Оказывается, спьяну я пообещал прочесть „Вулкан“.

[…] Пошли опять к Корнейчуку. Он боится жены и старается быть точным. Тамара напомнила ему, что он обещал года три тому назад приехать к нам на дачу и тоже не приехал. Напекли пирогов, ребята говорили: „Спасибо товарищу Корнейчуку за счастливое детство“. Увы, он не помнит этого.

Он рассказал о школе партизан-подрывников, как приходят и уходят, как шестнадцатилетняя девушка была счастлива, уходя, что видела А.Корнейчука и В. Василевскую, как их вдвоем на фронте посылали в дивизию, которая перейдет в наступление, и как по дивизии сообщили, что они приехали:

— Это, брат, не шутка.

Странная слава! Корнейчук мне нравится. Ванда Василевская, сухая, строгая, старающаяся быть революционеркой, тоже хороша по-своему. […]

Обещал читать „Вулкан“, Корнейчук уговаривал, чтоб жена не обиделась. Он ее боится ужасно и, мне кажется, не очень любит. Она же, наоборот, не боится его, но любит ужасно. Если они рассказывают что-либо, то перебивают друг друга.

… Скоро начнется, говорят, с пятнадцатого, переосвидетельствование белобилетников. По новому правилу брать в армию будут всех, кто хоть сколько-нибудь годен. Правил роман. Успешно.

3 декабря. Четверг

[…] Разыскивал „Вулкан“. Этой окаянной повести не везет. Нашел рукопись, но не хватает последних не то трех, не то четырех страниц. Как быть? Читать без конца? „Гордая полячка“, не приведи бог, обидится еще больше.

[…] Читал Н.Карина „Классификация всех видов“. Любопытно.

5 декабря. Суббота

Скользко. Падает снег. Идти трудно. Я побывал в Клубе писателей, съел отвратительный обед, зашел к дочери Мане, но никого там не застал, пошел по книжным магазинам — книги плохие, втридорога, продавцы все незнакомые, меня никто не знает. В филателии в течение года не поступало марок Отечественной войны. Устал. Иду, сутулый, унылый. […]

Вечером пошли к Надежде Алексеевне. Она сидит в спальне. Палисандровая кровать покрыта синим вышитым китайским покрывалом и украшена деревянной гирляндой. Цветы, туалетный стол, столик из карельской березы, сферический столик, столик красного дерева. Она сидит в собольей шубке на кушетке красного дерева, прикрыв ноги пледом. Седая дочь Шаляпина рассказывает о том, как управдом расхитил архив ее отца, как племянник Шаляпина жил на то, что он „племянник“, как она читает от Литературного музея. Надежда Алексеевна стала жаловаться на Ливанова: пришел в гости, выпил, не дал играть Шостаковичу, заставил молчать А. Толстого, — и просидел до девяти часов утра.

Жена Толстого принесла фотографию мужа и карикатуры. Алексей Николаевич давал пояснения, а затем:

— Прогнозы. Немцев побьем. Сейчас сокрушают Италию. Ведь что сказал Муссолини? Представьте, что вождь, скажем, Сталин, сказал бы: „Бегите из городов в деревню“, что бы с нами сделалось? Гм… Убежать можно, даже в пещеру залезть, а карточки от кого получать, продовольственные?

Михалков — его заиканье признали за ранение — носит ленточку тяжелого ранения. Кружков из „Правды“ был редактором фронтовой газеты, Михалков поехал туда за орденом. […]

Возвращаемся. Нам вручают извещение гостиницы — к восьмому числу очистить номер, так как срок истек.

6 декабря. Воскресенье

Заканчиваю правку романа. Роман стал ясней, но стал ли он лучше сомневаюсь.

Читал у Ванды Василевской и Корнейчука „Вулкан“. Прошло немножко больше года — и как далеко все это, и как грустно читать! И такое впечатление милой грусти было у всех.

7 декабря. Понедельник

Вечером М. Ройзман, принес странное сообщение. Вчера Лозовский собрал писателей, работающих в Совинформбюро, и ругательски-ругал перед ними союзников и, в частности, Англию,

называя их и некультурными, обманщиками и т. д. Писатели разошлись в смутном настроении.

— Неужели еще воевать с Англией? — спрашивает Ройзман.

…Дождались „Последних известий“ — ибо Жаткин при встрече со мной сказал, что слушал английское радио, сообщившее, что началось воздушное наступление на Европу: волнами, по 300 самолетов, разрушались французские и голландские города… Ничего такого не сообщили. Было только странное — все время шли сообщения из Советского Союза, и только в конце были три крошечные телеграммы из-за границы, на три минуты. Может быть, это и случайно, а может быть, и знаменательно. Недаром же из Ташкента пишут, что генеральши сказали: „Война скоро кончится, на фронт ехать не нужно“.

Чем кончится? Сепаратным миром? Уходом немцев из России?

8 декабря. Вторник

[…] Позвонили из Союза писателей и попросили у меня экземпляры романа „Проспект Ильича“. „Как можно больше, так как роман выставляется на Сталинскую премию“. Тамара сказала, что есть один экземпляр, его можно дать в четверг, и если им хочется читать, то пусть перепечатают.

В Сибири был у меня знакомый писатель Антон Сорокин, принесший мне много пользы, а того более вреда. Ему казалось, что обычными путями в литературу не пройдешь. И поэтому он, живя в Омске, прибегал к рекламе, называя себя „Великим сибирским писателем“, печатал свои деньги, имел марку — горящую свечу. Однажды он напечатал визитные карточки. Под своей фамилией он велел тиснуть: „Кандидат Нобелевской премии“. Я сказал ему: „Позвольте, Антон Семенович, но ведь вы не получали Нобелевскую премию?“ Он, криво улыбаясь в подстриженные усы, ответил: „А я и не говорю, что получил. У меня напечатано — кандидат, а кандидатом себя всякий объявить может“.

Боюсь, что Союз писателей заказывает мне на визитной карточке: „Кандидат Сталинской премии“.

[…] Исправил, наконец, роман.

Из… черт ее знает, не то Пермь, не то Вятка!… приехал А. Мариенгоф. Вошел походкой, уже мельтешащей, в костюмчике, уже смятом и не европейском, уже сгорбленный, вернее, сутулящийся. Лицо красноватое, того момента, когда кожа начинает приобретать старческую окраску. Глаза сузились. Боже мой, смотришь на людей и кажется, что состарилась за один год на целое столетие вся страна. Состарилась, да кажется, не поумнела! Недаром же в этой стране родился такой сатирик —

Салтыков-Щедрин, — перед которым и Свифт, и Рабле, а тем более Вольтер — щенки в сравнении с догом.

Темный двор. Темнейшая лестница. Идем, держась за перила. Зажигаем спички и стараемся, экономя спички, при свете этой тонкой щепочки разглядеть возможно больше этажей. Нашел номер квартиры. Дверь на замок не заперта. Отворяем. Длинный темный коридор. Налево — двери. Там живут. Направо — ниши, в них две ступеньки вверх почему-то, и там тоже двери, тоже живут. Дом лишен электричества. Открываем дверь, — посередине комнаты печечка и в ней чуть-чуть светит огонек. Вокруг печки — люди. „Нет, здесь не живет“, — отвечает либо женский, либо старческий голос. В другой комнате и печки нет. Светит коптилка. Вокруг коптилки — люди. „Нет, здесь не живет“. А вокруг снега, утопающие во тьме, голод, мороз, война. Ух, страшно на Руси, Михаил Евграфович!

10 декабря. Четверг

[…] Из Свердловска приехала О. Д. Форш, бодрая, веселая, говорящая много о работе и упомянувшая раза три-четыре о смерти. Она рассказывала, как ездила по Средней Азии, как видела Джамбула, который сердился на фотографов, съевших его яблоки. Перед уходом она сказала:

— Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. Робеспьер, Демулен и прочие вожди французской революции родились в масонских клубах. А народ легковерен и глуп. Мне помнится, Штейнер ругал русских, „свиней, нуждающихся в пастухе“. Где-то там в теософических кругах, родился и воспитан этот истерик, марионетка Гитлер, за спиной которого стоят… не теософы ли» Это ужасно интересно.

Будучи в юности антропософкой, она и сейчас считает движение это мощным, из которого можно вывести гитлеризм. Уэтли — «Основания логики», которого я читал недавно, говорит в одном месте: «Слабый довод бывает всегда вреден, и так как нет такой нелепости, которой бы не признавали за верное положение, коль скоро она, по-видимому, приводит к заключению, в справедливости которого уже прежде были убеждены».

11 декабря. Пятница

Вечером пошли к академику Комарову, президенту Академии наук. Ольга Дмитриевна обещала прочесть свою пьесу, еще не оконченную, — «Рождение Руси» о Владимире Святом, (Киевском). На улицах тьма невыразимая, идут трамваи с фиолетовыми фонарями, с лицом, приплюснутым к стеклу, ведут их вожатые, на остановках темные толпы, говорящие об очередях и где что выдают. Какой-то любезный человек проводил нас до самых дверей особняка Комарова. Лестница. Трюмо. Вешалка.

Лепные потолки и стены окрашены голубой масляной краской, запах которой все еще стоит в комнатах. Горят люстры. Много книг. Мебель в большом зале в чехлах, а на стене ковер с вытканным лицом Комарова. Вот уж подлинно «Комарик»! Сидит старичок с разными глазами, словно бы фарфоровыми, да притом взятыми из разных лиц, на груди орден и значок депутата, седая жена с черными бровями и пушком на верхней губе, скупая и злая.

[…] Пьеса Ольги Дмитриевны похожа на ее жизнь в этом тепло натопленном доме, но холодном по существу своему. Балаган, годный, может быть, для оперы, куда можно совать всяческую чушь, но для драмы? А, может быть, как раз и для сцены хороша будет? […] Признаться, мы покривили душой, чтобы старуху ободрить — расхвалили. Ведь у нее, бедняги, даже калош нет, и Фадееву пришлось писать наркому о калошах, на что сегодня получили сообщение, и Кашинцева, секретарь Фадеева, сообщила о том Тамаре.

12 декабря. Суббота

Эренбург, в новом костюме, однако кажущемся на нем засаленным, сидит в кресле и потягивает коньяк. У ног вертится облезшая черная собачонка, которую «кормили всем, даже сульфидином, но не выздоравливает». Я посоветовал давать водку. Костюм осыпан пеплом, губы толстые, еле двигаются и цвет у них изношенной подошвы. Он важен необычайно.

— Меня удивило, — говорит он, — что Пастернак ко мне не зашел. Ведь хотя бы из любопытства. […]

Он не глуп. Я стал говорить, что сейчас люди устали — романы не должны быть длинны, а фразы надо делать короткими. Он сказал:

— На меня удивлялись и негодовали, что я пишу без вводных предложений. Но ведь науськивают без вводных предложений?

Затем я стал выспрашивать, что он думает о дальнейшем. Он сказал, что война кончится так же, как и началась, — внезапно, внутренним взрывом. Я сказал, что это аналогия с 1918 — 1919 годом. Он сказал, что, возможно, он ошибается, но американцы произведут внутренний переворот в Германии, перетянув к себе, скажем, Геринга, как перетянули они Дарлана«…они готовы контактовать с кем угодно, лишь бы в Германии не было Советов. И германцев они не так уж ненавидят. Англичане испытывают к германцам большую ненависть, а мы этого не понимаем, и американцы нам ближе». […]

Читал старенькую книжку Бэна «Об изучении характера» (1866 год), где доказывается, что френология — последнее достижение науки, — и доказывается очень убедительно, также

как был недавно убедителен Фрейд, Кречмер и как будут в дальнейшем убедительны сотни ученых, объясняющих человеческие поступки и мечты. Позвонил ночью Минц и предложил поехать в Латышскую дивизию под Сталинград. Наверное, поеду… Ведь дело идет о войне, да еще вдобавок современной.

Рассказывал Эренбург. В Совнаркоме мучились: как писать какого-то награжденного «Ёлкин» или «Елкин». Молотов полушутя позвонил в ТАСС и сказал: «А мы, знаете, решили ввести букву „ё“». И — началось. Стали ломать матрицы, вставлять в машину «ё», доливать на словолите шрифты, на пишущих машинках буквы нет, так две точки над «ё» ставили руками, полетели приказы… Переполох продолжается — доныне. На другой день, к удивлению страны, появилось «ё», видимо, для того, чтобы удобнее писать на заборах «…на мать»!

Ночью разбудил голос, глухо читавший что-то внизу, под полом. Я вскочил, вставил штепсель — радио закричало, перечисляя трофеи. Трофеи большие, настроение — было упавшее, — у жителей, несомненно, завтра поднимется.

14 декабря. Понедельник

Днем болела голова. Ходил в Лаврушинский, перебирал книги. В квартире холодно и грязно. Я взял денег в сберкассе, написал записочку, как депутат, в деревообделочный завод где-то за Савеловским вокзалом, чтобы Анне Павловне выдали обрезков. Анна Павловна еле ходит от слабости — видимо, все, что добывает, скармливает дочери. Я оставил денег побольше, да что купишь на эти деньги?!

Завернул в «Известия». Равинский предложил мне напечатать в газете отрывок из романа, статью о капитане Сгибневе, которую я сейчас пишу, и статью о партизанах. […] Только поговорили о партизанах, ан они тут как тут. Пьем вечером с Тамарой чай, звонят Бажаны: не придете ли повечеровать. Пришли к Бажанам. Разговор о пошлости М. Прево, роман которого я дал прочесть Нине Владимировне; о Пастернаке, вечер которого состоится завтра, и его манере чтения и что, возможно, он прочтет отрывки из «Ромео и Джульетты». Разговор почему-то перекинулся на то, что я сейчас делаю, — я сказал о статье, описывающей организатора партизанского, и спросил у Миколы Платоновича:

— А ведь у вас, наверное, есть партизаны знакомые?

Дело в том, что Микола Платонович редактирует газету «За Радянську Украину», которую сбрасывают с самолетов по оккупированной Украине.

— Есть хороший партизан, да он лежит в больнице. Хотя, позвольте!..

Он снял трубку и почтительно стал разговаривать с кем-то, приглашал зайти. Через полчаса пришел человек с мясистым лицом, подстриженными усами, черными, со шрамом на лбу, в ватных штанах и грубых сапогах. Это — Герой Советского Союза Федоров, бывший секретарь Черниговского обкома, ныне вождь украинских партизан «генерал-лейтенант Орленко» на Украине и «генерал-лейтенант Сергеев» в Белоруссии. В Москву кроме Федорова прилетели еще двое.

— Мне говорят: «Не поедете ли на Украину?» — «Отчего не поехать?» — «Но придется сбрасываться». Сбрасываться — не сбрасывался, с вышки не спускался, но так как люблю спорт, то нырял в воду. Думаю, не страшнее же. Дали парашют. Летим в «Дугласе». Кидаюсь. Рванул за кольцо. Толчок. Опускаюсь. Только говорят, надо слегка поднимать ноги и каблуки рядом, когда опускаетесь, да если ветер несет, надо натянуть передние тросы и завалиться на них, подсечь ветер. Так я и сделал. По дороге вставил в автомат, который висел у меня поперек груди, кассету патронов. Снег по пояс. Вижу, бегут с винтовками. «Кто такие?» — «Партизаны! Мы вас ждем!» Так я и стал партизаном. Очень увлекательно! Особенно интересно взрывать машины. Или поезда. Едет… Дернешь, он и летит кверху. Они звери. Детей, малюток в огонь бросают. Ну меня убьют, понятно… Но дети при чем?! Вот такие. Пришел восьмилетний: «Батьку, мамку спалили, хочу мстить». […]

— Думаете, нам легко? Есть село Елань. Присылают немцы: «Выбирайте старосту и полицейских…» А полицейские из наших — жестокие!.. «Не хотим!» Все село сожгли. Они ушли в леса и кое-как живут.

— Чем же живут?

— Посеяли на полянах просо, картофель, пшеницу. С того и живут. Половина у меня в отряде. Живут они в землянках.

— Марков? Замечательный человек! Он бывший директор винокуренного завода. Старичок там дает и партизанам спирт, и немцев обслуживает. Дает двадцать пять литров, пожалуйста. Но это не дело. Я послал сто человек, они взяли 5 000 литров, раздали крестьянам, а остальное закопали. Приходит Марков: «Восемь человек в отряде, сам девятый». — «Что тобой сделано?» «Ничего». — «Да ведь твоя диспозиция в пяти километрах от винокуренного завода?» — «Точно». — «Почему же не взорвал?» — «Как же я взорву? Там рабочие без работы останутся». Тут я его послал, извините, по матери, ударил кулаком по столу и наганом популяризацию: «Рабочие — твои кадры. Взорвешь завод — к тебе же пойдут. Куда им идти?» По глазам вижу, человек смелый, но не знает, как организовывать. Я

ему придал еще десять человек… Рассказал, что и как. Уже огромный отряд, чуть ли не с мой. Я его и сделал своим заместителем. […]

— Послали десять дивизий. Фюрер приказал навести порядок. Они так и назывались: «Дивизии порядка». На мою долю достались две — с танками, минометами, артиллерией. Помучили они нас, но и мы их измотали.

[…] Приходят остатки отряда, разбиты — «Чего? Испугались?» — «А как же, окружены». — «Мы все время окружены. Иногда пошире, иногда поуже». Впереди поставил с автоматами командиров и политработников. Дал артиллерийский огонь! Прорвали на восемь километров и хлынули! За командирами — красноармейцы. У нас — один убитый и один раненый. Немцы насчитали более четырехсот девяносто трупов и ушли, а мы долго, не в том дело, — собирали оружие. […]

— Всего прошли по Украине, петляя, 3 000 километров. Одно время не было хлеба. Отбили у румын коней, питались кониной, несоленой — три месяца. И только больше злобы. И отряд увеличивали. […]

— У нас уже идет спор: кто возьмет Киев. Я проведу по Киеву своих партизан. Мне сейчас дали пять областей, я их освобожу, приготовлю для прихода Красной Армии, а сам уйду на Западную Украину, где движение партизан — еще никем не организованное — принимает сейчас более обширный характер.

Показывает пистолет, подаренный Миколе Платоновичу и говорит:

— Вы его берегите. Он снят с фона… Не помню, как этого майора звали. […] — Словом, фон… Знатный какой-то. Допросили, и затем я его из револьвера и пристрелил.

— У нас большинство молодежь. 60 % коммунисты, 20 % — комсомольцы. Девушки… Еврейка из Новозыбкова. Там согнали в клуб 1.700 евреев. Они стали просить эсэсовцев спасти ее. Один приставил ее за доску. Очень красивая. Семнадцать лет. На еврейку не похожа. Он ей ничего не сделал. Она стояла за доской (щит для объявлений) четыре часа. А евреям выкопали могилу. Уложили в ряд, лицом вниз. Стреляют из автомата в затылок. На теплый еще ряд укладывают следующий, — и стреляют. Стреляют не немцы, а что позор — русские. Есть сын орденоносца.

— Почему его не убили?

— А я обещаю вам его живьем доставить…Затем эта девушка пошла в наш отряд. Мы ее одевали в лучшее платье. Она ездила. Ее немцы катали на машине. Ее ранило. Двое красноармейцев несли ее. Их убило. Носилки остались. Немцы к ней бегут. Она разрядила наган — было шесть патронов. Убила четырех немцев,

а последнюю пулю в себя!

15 декабря. Вторник

Исправлял из романа для «Известий». Вечером позвонили, напечатают, но надо сократить. «Как будто это написано сегодня про Сталинград», — сказала Войтинская.

[…] В Клубе писателей выступал Пастернак, как всегда с большим успехом. Во вступительной речи сказал, что уезжает в Чистополь и желал бы проститься… что политической поэзии нет, искусству жить нечем, в Чистополь в прошлом году он бежал с удовольствием — словом: «Я сказал то, что думают многие». То-то будет переполоху в правящих кругах литературы!

… Дети чаще взрослых попадают в новые положения. Вот почему, ища выхода, они поддаются внушению. Человек на войне — дитя. Отсюда в войне и в продолжении ее — революции — так много детского и доверчивого, и так часты и могущественны учителя, хотя, казалось бы, революция и стремится к тому, чтобы свергнуть учительство, и ученье (все прошлое, ненавистное революции ученье).

16 декабря. Среда

Были Б. Пастернак и Асмус. Позже читал стихи — хорошо о парке, дурные — о войне.

Днем пришли Гусевы — говорили по телефону с Ташкентом. Наш Миша — с девятого — болен брюшным тифом. Слышать это — очень тяжело; потом он квелый, все время хворал. Тамара бросилась добывать телефонный разговор с Ташкентом, через «Известия».

Правил для «Известий» отрывок из романа.

17 декабря. Четверг

Ни работать, ни думать не хочется. В голове все мальчик.

Отрывок напечатали. Зашел в «Молодую гвардию», обещал отдать читать роман.

[…] Читал в «Комсомольской правде» отрывки из романа. Идет разговор о том, чтобы печатать роман в газете — сокращенный, конечно.

18 декабря. Пятница

«Известия» так и не добились телефона. Помог актер Райкин: у него знакомая телефонистка, она и дала провод. У Миши десятый день температура сорок, — какая-то нервная форма тифа.

[…] Встретил партизана Федорова. Они, видимо, утром улетают. Уже вылетали вчера, кружились в метели несколько часов над немецкой территорией и вернулись.

19 декабря. Суббота

Глупое и бездарное заседание в НКО, ПУРе… Выступил

начальник агитации и пропаганды и стал доказывать нам, уже поседевшим в боях, что он умнее нас и знает больше нас. Ну, а мы, как всегда, промолчали — да и всех не научишь. Однако даже этот человек понимает, что наша бездарная и сухая пропаганда, как и бездарная литература, приелись и никто читать эту муру не желает. Он выдвинул необходимость создания приключенческой литературы. Я напомнил ему, что надо опубликовать анекдоты, — что анекдотом и шуткой можно бить врага не хуже, чем пушкой, «при условии, если и пушки хороши», и ушел.

… Получил категорическое приказание — уехать из гостиницы. Пока сижу.

20 декабря. Воскресенье

[…] Дочь профессора Сыромятникова — мужа матери Тамары — седая женщина, работающая во «Всекохудожнике», имеет лимит, достаточный ей для того, чтобы три часа в день жечь пятнадцатисвечовую лампочку. Горячей воды не пьет — согреть не на чем. От «ознобления» — есть такой термин — у нее язвы на концах пальцев, суставы рук и ног распухли. Она живет с матерью на 400 рублей в месяц, в комнате 4выше нуля и столько же на службе. […]

21 декабря. Понедельник. 22 декабря. Вторник

Выселение из гостиницы, петиции к Пронину. Пронин прочел фамилии всех сорока заявлявших и отказал. Я не подавал заявления, и, наверное, поэтому меня не выгоняют. Впрочем, это, несомненно, явление временное. Но я не огорчен. Уже все вещи понемногу перенес на Лаврушинский, оставив самые необходимые.

Хлопоты — доставание билетов, машины, продуктов, веревок, чтобы перевязать вещи, телефонные разговоры с Ташкентом. […] Союз выдал Тамаре командировку — и то слава богу. […] Но как бы то ни было, наконец, собрали и отправили!

Уехали в начале восьмого, и даже на автомобиле. Сейчас половина десятого. Я на вокзал не поехал, так как обещал прийти украинский партизан — рассказать… […]

Есть еще добрые люди на свете! Прошлый раз Тамара говорила по телефону. Телефонистка, слушавшая ее, так была поражена разговором о болезни мальчика, что сказала после разговора Тамаре по телефону: «Я вас понимаю. Через неделю, во вторник, будет мое дежурство, я вам устрою еще разговор с Ташкентом». И устроила. Мы просто были счастливы.

23 декабря. Среда

Написал статью для «Известий» о Федорове. Вечером сидели у Бажана, потолковали, выпили кофе — и вот три часа ночи, а заснуть не могу.

24 декабря. Четверг

Вчера был в ЦК комсомола, говорили о литературе. Я высказал то, что думаю, — и меня пригласили сказать это на совещании о работе издательства «Молодая гвардия»… Дали серию книжек о Героях Советского Союза.

Проснулся в шесть утра и весь день ходил с пустой головой и со слипающимися глазами.

Читал книжку русских юмористов, относящуюся примерно к 1912 году. Боже мой, какое гигантское влияние Чехова — на всех! Почему-то раньше этого не было заметно. […]

25 декабря. Пятница

День мелких и весьма чепуховых неудач. Утром — беспричинная тоска. К полудню позвонили, требуя, чтобы я очистил номер. Обещал… Идет война, погибают миллионы, а быт остается бытом. Писатели пьют водку и чествуют друг друга «гениями», — и пишут вздор, как прочтенные, например, вчера книжки о Героях Советского Союза. […] Во время обеда узнал, что убит Дарлан. То-то работы историкам и романистам!

В «Правде» статья, прямой отклик на мою: Федоров написал о своем отряде и подписал «Орленко». Хоть одно удовольствие. Из Ташкента вестей нет, и это меня очень беспокоит: не болен ли Комуся?

Завтра уйду из гостиницы, где я прожил два месяца — ровно, так как приехал в Москву 26-го. А сегодня Рождество, 9 часов вечера, сижу в комнате один, выпил кофе и даже ознаменовал праздник тем, что съел два куска сахару. […] На дворе мороз, градусов 10, не больше, вообще зима снежная и мягкая, мальчишки катаются на салазках, а так как подметки у мальчишек рваные, то у них проволокой подмотаны куски шинельного сукна.

[…] Позавчера был Б.Д.Михайлов. Он сказал:

— Обстановка так сложна, что можно предсказать события разве за два месяца. Ну вот, например, Америка хочет «дарланизировать» Европу…

И не предсказал и на два дня. Дарлана уже нет.

26 декабря. Суббота

Перетащился из гостиницы домой — «на Лавруху» — и вдруг почувствовал, что такое тишина. По переулку словно никто не ходит, не говоря о том, что автомобилей нет и в помине. На лестнице тоже шагов не услышишь. Телефон испорчен — можно звонить от меня, а ко мне нельзя. Чувствую себя от этой тишины не по себе, — а я и не замечал, мне казалось, что в гостинице тихо.

28 декабря. Понедельник

Телеграмма из Ташкента: «Болезнь идет нормально, не беспокойся». У кого? И что значит «нормально»? Очень устал от вчерашнего разговора с партизаном. Ехал на метро. Какие странные лица на эскалаторе! Сосредоточенные, острые, очень похудевшие. Одни говорят, что хлеба с января прибавят, другие — убавят. Вряд ли, прибавят. Глядел на очередь. Надо будет сделать две-три записи очередей.

31 декабря. Четверг

Написал статью «Учитель из отряда генерала Орленко» для «Учительской газеты». Затем пошел обедать, затем пошел на рынок, чтобы купить Мане шоколад к Новому году. Грязная, с вытаращенными глазами озлобленная толпа. Ну и конечно, цены тоже с вытаращенными глазами. […] Вернувшись домой, заснул на часок, а теперь жду восьми — девяти часов, чтобы пойти в гости к Бажану и Корнейчуку. Тема разговоров в Клубе писателей — уменьшающиеся каждый день порции… Впрочем через год, говорят, и это будем вспоминать, как чудо.

И еще зашел в «Молодую гвардию» получить деньги. Холодно. Внизу, в нетопленой передней сидит швейцар. Наверху, на третьем этаже, красные, полосатые дорожки, и над ними, в холодной мгле горят похожие на планеты, когда их смотришь в телескоп, электрические шары. Наверху их какие-то мутные пятна… Я к тому времени устал, ноги едва передвигались, и мне казалось, что я иду по эфиру, и действительно разглядываю планеты. И кто знает, не прав ли был я? Во всяком случае, в этом больше правдоподобия, чем в том призрачном существовании, которое я веду.

Какой-то рыжий человек с круглым лицом сказал мне за столом:

— Мы все буддисты.

— Почему? — удивился я: вчера читал как раз книгу о буддизме, изданную в Питере в 1919 году. — Почему?

— Буддизм считает достаточным для человеческого насыщения сорок два глотка. А мы делаем значительно меньше.

— «Боже мой! Видимо, я брежу», — подумалось мне. И сейчас это кажется очень странным, тем более что недавно я записывал нечто подобное, и как раз тогда же раздался под окном автомобильный гудок. И сегодня то же самое.

Дневник. 1943 год

1 января. Пятница

Новый год встретил с Корнейчуком, В. Василевской и Бажанами. Куда-то ездили, сидели в избушке у жены партизана, Бажан разговаривал с дочкой, успокаивал ее. […] Пришел домой в семь часов.

Радость и вместе с тем опасения — а вдруг сорвется — по поводу окружения немцев под Сталинградом.

Напечатана моя статья в «Гудке».

2 января. Суббота

Вечером пошел к Пешковым. Ну, тот же вежливый разговор о тех, кто у них был вчера. Е.П. рассказала о старушке: ждала прихода немцев. У старушки восемнадцатилетняя внучка. Чтобы девочку не изнасиловали, старуха решила откупиться угощением: достала пол-литра водки и селедку. Кто-то донес. Старуху посадили. Город не взят немцами и поныне, а старуха сидит.

Умер актер Новосильцев, игравший в «А. Пархоменко» роль Быкова.

3 января. Воскресенье. 4 января. Понедельник

Ничего не делаю. Читал даже мало. В голове — пустота, в душе недоумение. Зашел к Анне Павловне. Живут в холоде, голоде, а девочка Маня мечтательница. Несчастье! Вот седьмого день рождения, а что ей подарить не знаю. Тоска.

Шлепал по столице в рваных калошах и ботинках. С неба валом-валит снег, с крыш капает… И такое впечатление, как будто тебе прямо в душу.

5 января. Вторник

Зашел к Ольге Дмитриевне Форш в ее голубой особняк. […] Сегодня есть письмо от Сергия к Сталину и благодарность Сталина, ответная. Попы пожертвовали 500 тысяч и обещают еще. По этому поводу Ольга Дмитриевна сказала:

— Мы ничего не стоим. Что вы можете пожертвовать?

— Две тысячи.

— А мне и две трудно. А протоиерей Горьковской церкви (нет, вы вдумайтесь в иронию) жертвует 100 тысяч. То ли еще будет.

— Чему быть?

— Говорят, еврейские погромы уже есть.

— Глупости!

— Ну, дай бог, чтоб глупости. А то Мариэтта (М. Шагинян) в партию записалась, я думаю — не к добру. Она плачет, радуется. Чему, дура!

Я рассмеялся.

— Верно. Ведь она-то умная, а здесь вывеска нужна, а не ум. Вот мой кузен, Комаров, у него вся спина в язвах от лишая, подхватил где-то в Монголии, цветочки рассматривал босиком, в болоте…

— Помилуйте, Ольга Дмитриевна! В Монголии болот нет.

— Высохли, что ли? Да ну их, болота! Я говорю о другом. Кстати, по поводу юбилея Ньютона хотел речь сказать. Он говорит хорошо. Не дали. По бумажке надо, говорит, читать…

— Отказался?

— Куда там, к черту, откажешься…

— Ну, почему же. Если настаивать…

— Посмотрю я, как вы будете настаивать в семьдесят лет-то…

— Я и сейчас-то не очень.

Она расхохоталась. Я побоялся, что пригласят обедать (не потому что есть не хотел, все время есть хочется), а потому что могут подумать обедать пришел, да и то Форш изумилась, что я пришел рано. А рано я пришел потому, что хочу зайти в гостиницу. Узнать — нет ли телеграмм и писем от детей, а по дороге посидеть часик — другой у Бажана.

Вчера Союз прислал мне следующую бумажку, текст которой привожу целиком: «С Новым годом, дорогой товарищ. НКТ СССР помог мне оправдать взятую на себя общественную нагрузку: зайдите, пожалуйста, в Союз писателей к Валентине Михайловне и получите 500 гр. шоколада ценой 34 руб. С приветом, О. С.» Дальше неразборчиво, а жаль — надо б фамилию этого идиота записать в дневник. Шоколад выдавали в секретной комнате, по особому списку. Кашинцева чуть приоткрывала дверь и смотрела — кто стучит. Как бы то ни было, я взял шоколад с радостью и отложил его — будет чудесный подарок ребятам. […]

Все повеселели: три дня подряд наши берут по городу.

6 января. Среда

Встреча с партизанами в санатории «Лебедь». Записывал рассказы их часов пять. Устал, писать не буду в дневник, так как почти все уляжется в статьи, кроме разве одного утверждения старика Бошко:

— Партизанить сейчас труднее, чем в восемнадцатом году. Не потому, что я старый, а потому что немец стал умнее. Он нас — расслаивает.

7 января. Четверг

Рождение Мани. Подарил ей полфунта дрянных конфет и шоколаду из того, что мне дали в Союзе. Она была счастлива и довольна. […]

8 января. Пятница

Написал статью «Партизаны-железнодорожники» для «Гудка». […]

Позвонил в «Новый мир» узнать о судьбе своего романа.

Говорил Дроздов.

— Я должен вам, Всеволод Вячеславович, сообщить неприятное. Щербина (редактор «Нового мира») думал-думал и решил не печатать романа. Он мотивирует тем, что роман — надуманный. Очень талантливо написано, но надуманно.

— Что же он раньше этого не сказал?

— Мне бы хотелось, Всеволод Вячеславович, чтобы вы не отвращались от нашего журнала.

— Не буду уверять вас, что я чувствую к вашему журналу восторг. Тем более, что вы ведь могли отвергнуть сразу, и не заставлять меня переделывать два месяца.

Тот что-то промямлил. Я говорю:

— Пришлите мне экземпляр.

Дроздов обрадовался, словно я его хотел смазать по роже, да промахнулся:

— Да, да, сегодня же. Какой номер вашей квартиры? […]

10 января. Воскресенье

Вышел на часок, прогулялся. Но, к сожалению, насладиться морозом трудно — был голоден. По воскресеньям из Клуба не дают пищи и потому питаешься «что-есть», а сего весьма немного. […] По дороге, гуляя, завернул в гостиницу — взял телеграммы — одну от Тамары, беспокоится, вторая — из Узгосиздата — требуют рукопись — иначе печатать нельзя! Бедняги! Они прочли отрывок в «Известиях» и сообщение о моем вечере, напечатанное в «Комсомольской правде», и небось решили — вот роман! Хоть бы они напечатали. Но вряд ли. Волна «надуманности» дойдет и до них.

11 января. Понедельник

[…] Если Данте действительно ходил по кругам ада, то как участник подобного хождения могу сказать, что ужас не в воплях и страданиях, ужас в привычке к страданиям и в сознании того, что и привычка, и ужас, и страдания необходимы — «так тебе и нужно».

Надо было бы заканчивать «Кремль», а не придумывать «Сокровища Александра Македонского». По крайней мере, там я был бы более самостоятельным, а тут — напишешь — и все равно не напечатают. Там я заведомо бы писал в стол или, вернее, печку, а здесь пишу на злорадство и смех, — да еще и над самим собой! […]

12 января. Вторник

Утром забежал К. Федин — худой, с провалившимся ртом —

старик. Пожаловался на гибель своей пьесы и побежал доставать хлебные карточки, сказав только о Леонове:

— Ленька крутит, крутит, ух!..

13 января. Среда

[…] В книге «Былое и думы» (должно быть, вложил, когда читал), нашел программу художественной части траурного вечера, посвященного одиннадцатой годовщине смерти В.И. Ленина (1935 год), программа как программа. Но на полях ее мои записи. Сколько помнится, я сидел в крайней ложе, впереди (как всегда, пришел рано) и на перилах ложи записывал. Мне, видимо, хотелось сделать словесный портрет Сталина, внешний вид его на заседании. Переписываю с программки (все равно утонет где-нибудь): «Сталин, перед тем как встать или идти, раскачивается из стороны в сторону. Меняет часто, тоже сначала раскачиваясь, позу. Сидит, широко расставив ноги и положив руку на колено, отчего рука его кажется очень длинной. Если надо поглядеть вверх, то шею отгибает с трудом. Рука, словно не вмещается за борт тужурки, и он всовывает туда, несколько торопясь, только пальцы. Сидеть и слушать спокойно не может, и это знают, поэтому с ним кто-нибудь постоянно говорит, подходит то один, то другой… На докладчика ни разу не взглянул. Садятся к нему не на соседний стул, а через стул, словно рядом с ним сидит кто-то невидимый».

В издательстве «Молодая гвардия» на стульях девушка пилит дрова. Редактор, в меховом жилете, говорит тихо, словно бережет теплое дыхание. Мороз, кажется, 24. Из форточек домов высунулись — вечером особенно заметно — трубы времянок, и белый дым, похожий на пар (дрова сырые), стелется переулком. От дыма, что ли, но дома оказались вдруг очень плоскими, словно книги. Стоят тысячи унылых книг, которых никто читать не хочет, — таких вот по «технике» сейчас в магазинах очень много, — и от злости из них идет п-а-р! Да-с. А в домах-то жизнь грозная и страшная, не дай, господи.

14 января. Четверг. 15 января. Пятница

Сильный мороз. Сижу в халате, двух жилетках, валенках — и холодно. Писать трудно. Сегодня, 15-го, получил в «Огоньке» 530 руб., сходил получил продовольствие по рейсовой карточке, замерз, проголодался — и вернулся домой быстро. […] Взял в библиотеке хорошие книжки, читаю и с радостью жду 9-10 вечера, чтобы лечь в постель и читать в постели, только не могу придумать, чем бы утеплить руки и плечи, которые болят уже месяца четыре.

[…] Вся Москва в морозном инее и тумане. Ходил по метро, присматривался, как люди одеты — портфели на кожаных ремнях

через плечо; женщина в ватных штанах и куртке «хаки» повязана белым платком — и с перманентом; другая — в резиновых сапогах, третья — в меховых. В простых чулках и в туфлях уже кажется чудовищно соблазнительной, наверное. Видел красноармейца в матерчатых, белых, стеганых сапогах — наверное, такие заменяют валенки…

16 января. Суббота

Холод. Говорят — 33. Вышел на часок — в книжный магазин, купил что-то об Элладе — замерз страшно. […]

Написал первую главу «Сокровищ».

[…] Если бы я пожелал дать картину зимы 1943 года в Москве для кино, я снял бы вестибюль «Правды». Открываешь дверь. Блестящие металлические вешалки, отполированный прилавок, за ним — женщина, принимающая пальто. Однако пальто нет. А на всех вешалках — авоськи из сеток, в них кастрюльки, какие-то мешки… С первого взгляда похоже на то, что брошены сети… Сети смерти, да?

Приведено в газетах выступление германского радиокомментатора о нашем походе на Северном Кавказе. Из этого выступления явствует, что наше наступление — в особенности, по-видимому, по направлению к Ростову приостановлено. Так как даты выступления немецкого комментатора не приводится, то, надо полагать, он выступил несколько дней назад, когда действительно наступление могло быть приостановленным. Сейчас, поскольку мы его приводим, возможно, наши опять прорвали фронт, потеснили немцев. Уже несколько дней нет сообщений (точных) о том, что творится в районе среднего Дона. Кто знает, не у стен Ростова ли мы? […] Внизу, у входа в Союз писателей, холодище страшный, а тут еще ежеминутно открывают дверь, таскают в дом дрова. Сторожиха — у пустой вешалки — бранится:

— Этак и замерзнуть можно, дьяволы! А помирать мне не хочется. Мне тоже надо посмотреть, что с Гитлером сделают.

17 января. Воскресенье

У Бажанов Антокольский читал поэму об умершем сыне, убитом недавно. Лицо похоже на маску, дергается, вытаращенные глаза, словно он не верит, что жив еще. Жена вяжет чулок. […] Ему, конечно, легче оттого, что он высказался — сыну было 18 лет…

Великая радость: добивают две немецкие дивизии под Сталинградом. Пожалуй, это первая, — бесспорная, — победа над немцами за все время войны, исключая, ясно, поражение их под Москвой. […]

18 января. Понедельник

[…] Писал первую главу «Сокровищ», затем, вместе с Мишей Левиным, хохоча, придумывали злодея для романа. Придумали забавно.

19 января. Вторник, 20 января. Среда

Два дня сидел и писал статьи. 19-го статью о Ленинградском прорыве, которая сегодня и напечатана; 20-го — две статьи: одну для «Гудка», другую для «Известий» — обе о Ленине. Что получилось, не знаю, но за сегодняшнюю хвалили. […] Вечерком, утомленный писанием, пошел отдохнуть к Федину. Сидели, выпили по рюмке, я рассказал ему о пьесе, он похохотал, повосхищался, сказал что я — Гофман, помноженный на Чехова, затем оба выразили сожаление, что сейчас обществу не до серьезной литературы, — и пошли спать. […]

21 января. Четверг

Письмо к Сталину по поводу романа. Написал, что думал — неважно, что не напечатан мой роман, мало ли у меня ненапечатанного? А важно, что подобные действия издателей и редакторов лишают нас, русских романистов, возможности создавать русский роман и выйти с ним на международную арену. Отправил письмо — и задумался, и, задумавшись, впал в некое уныние. Может, и не стоило писать, отнимать у Сталина время? Но, с другой стороны, я ведь не предлагаю ему читать мой роман, не прошу его позаботиться о печатании, а сигнализирую о бедствии литературы, на которое, с моей точки зрения, не обращают внимания. Впрочем, вряд ли Сталин обратит внимание на это письмо, и вряд ли оно попадет к нему в такие грозные для нашего государства дни.

Морозы несколько спали. Пошел прогуляться. Занес Мане 150 грамм конфет, полученных по карточке. Анна Павловна с радостью показала 400 грамм масла, купленного на базаре за 350 рублей. За такие же деньги я купил вчера 29 томов «Нового энциклопедического словаря», т. е. за 400 грамм масла…

…23 января. Суббота

Опять сидел дома. Читал странную книжку, называемую «Социология» П.Сорокина. Я бы назвал ее лучше — «как строить роман», т. е. как найти схему, посредством которой можно было бы столкнуть разных людей. Мне кажется, иной ценности книжка не имеет. […] Вчера получил письмо из Союза, подписанное В.Ставским. напоминают, что я еще не делал взноса на танковую колонну. А у меня всего 500 рублей. Пойду завтра на перерегистрацию, отдам эти 500, - стыдно столько вносить, но денег нет совершенно.

[…] На заседании «планерки» в «Гудке». Железные дороги забиты составами. Есть дороги, с отрезанными концами, забитые

составами. Редактор приводит забавный и грустный случай: для того, чтобы не было накипи в котлах машинистам выдают «антинакипин». Однако накипь есть. Стали допытываться — почему? Оказалось, что машинисты меняют «антинакипин» в деревнях, где мужики делают из него мыло, создавая, так сказать — простите за плохой каламбур — буржуазную накипь…

24 января. Воскресенье

Пишу, сдвинув два кресла — мягко и тепло — покрыв ноги мехом, соединив кресла фанерой, положив поверх их подрамник, обитый фанерой, на котором и лежит мой дневник. Тепло и довольно удобно. Не знаю только, много ли часов можно писать в подобном положении? Если много, то хорошо. В иных условиях больше двух часов не выходит.

Был на врачебной комиссии. Вежливейше выслушали, с почтением назвали «высшим командным составом» и признали годным. После чего вернулся домой и стал названивать по телефонам, добывал денег — надо внести на танковую колонну, дать Анне Павловне на дрова. […]

25 января, 26 января. Понедельник-вторник

[…] Искал какую-то книгу, под руки попал В.Брюсов «За моим окном». Я прочел. Он рассказывает там, между прочим, о том, как его рисовал Врубель, — под конец смыл затылок и оставил одно лицо. Брюсов обижается и называет Врубеля сумасшедшим. Но, когда прочтешь, например, книжку «За моим окном» видишь, что Врубель таки был прав. Символисты пыжились, раздувались, старались казаться и выше, и умнее. Впрочем, великанам вроде А.Блока, это и не нужно было, но Брюсов делал это зря.

27 января. Среда. 28-29-30-31 января

Отчасти по причине холода, безденежья, а равно и устав от писания статей, которых в эти пять дней я, кажется, написал три — я не писал сюда. Да и нельзя перегружать рюкзак тяжестью жалоб.

Вчера только что кончил статью, которая сегодня напечатана в «Известиях», как пришел Кончаловский, веселый, румяный, в бобрах. Заходил в Третьяковку, бранился, что его картины плохо освещены — дело в том, что А.Герасимов написал и повесил новую картину «Сталин делает доклад» и весь свет направили на нее.

[…] На днях был он в Третьяковке, продал картину «Мясо». Возвращается домой, стоит на остановке троллейбуса, у гостиницы «Москва», подходит знакомый художник, спрашивает:

— Петр Петрович, как дела?

— Хорошо. Вот только что в Третьяковке продал «Мясо» за 15

тысяч.

Едут. В троллейбусе одна из женщин, пассажирок, продвигается к нему поближе и говорит:

— Гражданин! Мы из Алма-Аты… С питанием у нас еще плохо… Не можете ли мне устроить хоть немного мяса?

Днем неожиданно собрались Федин, Погодин, Форш. Я выставил полбутылки водки, разговорились. Форш рассказывала о Печковском:

— Был такой тенор, пел «Евгения Онегина». Напел много, построил дачу против меня. Глупый. Дача «ампир», с колонками. Он сидит на террасе, в джемпере, вышитом незабудками — мальчиков любил, они и вышивали. Вижу возле террасы старушка варенье варит. Все едут мимо — и в восторге: «Ах, „Евгений Онегин“». А рядом деревня, Егоршино, что ли, называется, мужики — жулики! Немцы идут. Все мы уезжаем. А Печковский все сидит и сидит. «Чего это он?» — «Да, немцев, говорят, ждет». Верно, немцев. Дождался. Он на советскую власть обижался: ордена не дает, потому что мальчиков любил. Поехал он в Киев. Выступал там с большим успехом. Решил — все в порядке, все устроено, на дачу возвращаться пора и — вернулся. А тем временем, окрестные мужики все в партизаны ушли. Вот сидит он на даче, приходят мужики: «Пожалуйте в лес» — «Чего?» — «Приговор надо исполнить» — «Какой приговор?» — «Вынесли приговор мы, надо привести в исполнение». Увели в лес, исполнили, — а бумагу об исполнении сюда прислали.

Федин читал Омара Хайяма. Хайям, кажется, был хороший математик и свои «Рубаи» написал на полях математических сочинений. Это похоже на правду. Стихи точные и ясные — это какая-то классификация чувств, выраженная с предельной простотой, и в то же время художественно. Но для Востока, конечно, он чересчур прост. Затем Ольга Дмитриевна, ни с того ни с сего стала возмущенно рассказывать, как перевозили прах Гоголя. Это, действительно, было глупое и возмутительное происшествие, при котором мне пришлось присутствовать (как вынимали прах Гоголя, правда, я не видел ушел), но Ольга Дмитриевна уж очень окарикатурила его. Федин рассказал, что Малышкин взял кусок не то сукна, не то позумента, держал у себя, но затем, ночью, будто бы убежал на могилу Гоголя и там зарыл этот кусочек под плиту. Прошло время. Малышкина похоронили рядом с Гоголем. Эффектно, но мало правдоподобно. […]

1 февраля. Понедельник

Сегодня — удивительное сообщение о полной ликвидации немецкой группировки под Сталинградом. Взяли фельдмаршала и

15 генералов. Конечно, для нас это замечательно.

[…] В «Известиях» разговаривал с одним журналистом. Тот сказал, что предполагают «Пугачев», роман В.Шишкова, будет удостоен Сталинской премии. Я ответил на это экспромтом: «Старик писал не мудрствуя лукаво: налево чушь и чепуха направо».

2 февраля. Вторник

Газеты. Черчилль был в Турции. Приняли хорошо. Турецкая газета ругает немцев. В начале прошлого года я и Комка предполагали, что немцы бросятся на Турцию в апреле 42 года. Но они сначала бросились на нас, думая пробиться к Турции через Баку. К счастью — не вышло. А теперь-то уж, конечно, к Индии им не пробиться. Возникают радостные мысли — неужели этот год будет последним?

Просмотрел книгу пословиц В.Даля. Пословиц на слова — «мечта», «воображение», «будущее» — нет, как будто этот народ никогда не мечтал, не воображал, не думал о будущем. […]

Днем получил рейсовую, последний раз. Как-то буду жить в марте? Говорят: а) немцы вчера передавали по радио, что русские атакуют Ржев. Наверное, правда; б) «Известия» — наши наступают на Брянском, туда уже уехал лучший очеркист «Известий» Е.Кригер; в) немцы устроили танковую дорогу у Ростова, чтобы пропустить туда свои отступающие армии. […]

3 февраля. Среда

Написал статью — «Битва при Волге». Газеты: плененные немецкие генералы и фельдмаршал Паулюс. Очереди за газетами: лица сияют, показывают друг другу газеты. Ну и дела-то, действительно, не шуточные.

В магазине для командированных — очередь за колбасой и салом. На две недели дают 195 гр. сала и 600 гр. колбасы. Вдоль очереди ходит мужчина босяцкого типа и предлагает менять — кошелку и чайную ложку. Второй подобного же рода — меняет пачку папирос. Просят нож. И тут же режут сало и хлеб, едят. […] Грязь. Гам. Милиционер гонит жуликов.

По улице идут командиры с блестящими погонами.

Все совершенно поразительно, и все не так, как предполагаешь.

4 февраля. Четверг

[…] Вечером приходил профессор Бочкарев, слепой, старый, с узкими плечами, в черном костюме и грязной рубашке. У него длинный, грязный нос, обветшалая серая бороденка, говорит он, не слушая вас. Я, например, пытался вставить что-то от себя в беседу, он делал паузу, а затем продолжал свое. К концу разговора я понял, отчего это. Три дня тому назад он получил

известие о смерти сына, сержанта, 35 лет, убитого на фронте. Старик, конечно, весь в этой смерти, она свила в нем свое гнездо прочно. И, рассказывая о себе, он как бы перекликается с сыном. Я должен написать о нем в «Учительскую газету». Он выразил желание прийти ко мне. По глупости своей, я полагал, что он читал меня. Но, конечно, он не читал, да и вообще, кроме газет и научных книг ему ничего не читают. Во всяком случае, он ни слова не сказал о беллетристике. Правда, он ничего не говорил об искусстве. Это — узкий специалист, и притом специалист — популяризатор. И вместе с тем, в нем есть что-то, я бы сказал, тупо-благородное, вроде того как бывают тупо-благородны и красивы глупые борзые собаки.

Я помогал в передней надеть ему шубу — с меховой подкладкой. Он сказал:

— Между прочим, эта шуба принадлежала Петру Кропоткину. Он мой дед. Я получил ее по наследству, — и быстро проговорил: — Не трудитесь, Всеволод Вячеславович, не трудитесь.

Я сказал:

— Помилуйте. Я помогаю не только вам, но еще и держу шубу Кропоткина. Двойное удовольствие.

Уходя, он добавил, что прадеды его Н.Карамзин и партизан Дохтуров. У них в семействе хранится бокал с надписью о 1812 годе. И шел он, как все слепые, зигзагами.

5 февраля. Пятница

В час ночи звонил Николай Владимирович — опять забрали, окружив, много немцев под Воронежем. Порадовался и лег спать. […]

Очень быстро утомляюсь. Проработаю час-два — и голова пуста, шумит, как самовар.

Последняя статья Ф.М. Достоевского в «Дневнике писателя», помеченная днем его рождения. Убеждает читателя в важности и необходимости для нас Средней Азии.

6 февраля. Суббота

Сидели Бажаны, Федин. Шел разговор о том, что будем делать с Европой и что останется от Украины. Бажан высказал правильную мысль, что Украина деревенская уцелеет. Словом, делили места и говорили о том, что европейцы нас дальше пределов нашей Родины не пустят. Удержаться трудно, но настроение действительно удивительное. «Медовый месяц», как говорится. Бажаны уже говорили, как они будут жить в Киеве. Перед уходом их — в передней — раздался звонок: Николай Влад. Слушал «В последний час» — наши взяли Батайск, Ейск, Барвинково и еще что-то. Сообщение поразительное. Батайском перерезана линия железной дороги между Харьковом и Ростовом,

и в сущности отрезается Донбасс. В расположении немцев только одна железнодорожная линия, а нам открыт путь на Днепропетровск! Чудеса. «В зобу дыханье сперло». Только бы хватило силы и напряжения.

7 февраля. Воскресенье

До марксизма не существовало системы антинравственных деяний в области, нас окружающей. Эту систему антинравственности, зла, преступлений марксизм и показал. Отсюда его успех. Но поскольку мы признаем по отношению к себе, что мы не являемся звеном этой антинравственной системы, а, наоборот, представляем собою цепь нравственную — хотя и тяжелую, постольку марксизм и его критика к нам неприменимы. Поэтому и отношение наше к теперешнему нашему врагу — немцам — только нравственное, а не марксистское, ибо, если мы немцев будем критиковать марксистской терминологией, а себя будем воспринимать, как явление нравственной силы, то это не сочетаемо. Не знаю, понятно ли то, что я хочу сказать? […]

8 февраля. Понедельник

Написал статью для «Учительской газеты» о профессоре Бочкареве.

[…] Звонит Войтинская. Просит статью: «В чем сила советского народа?» Я говорю:

— Русский народ задним умом крепок.

Она не понимает и говорит:

— Нет, нам нужно о советском народе. Оказывается, товарищи обижаются, что мы пишем — русский, да русский.

— Им полезно, чтоб они обижались. Есть по кому равняться.

Здесь она стала говорить о том, что идут бои на улицах Ростова. Похоже. В сегодняшней сводке есть намек, что за Азовом наши перешли Дон и, значит, зашли в тыл Ростова. Взятие Краматорской, с другой стороны, указывает, что наши врезались в Донбасс. Когда немцы нас бьют, они кричат, что бьют русских, потому что бить советских не так лестно. Когда немцев бьют наши, они кричат, что их бьют советские, так как это и страшно, и необычайно.

Мы, кажется, поступаем вроде них. Когда нас бьют, мы кричим, что гибнет Россия и что мы, русские, не дадим ей погибнуть. Когда мы бьем, то кричим, что побеждают Советы и, хотя мы не проповедуем советской власти во всем мире, но все же… от этих намеков у наших союзников мороз идет по коже и морды цепенеют, так что их приходится уговаривать, что мы-де, не желаем никому советской власти, кроме самих себя. (Читай фельетон «Шулера и шуты» в сегодняшнем номере «Правды»).

И хорошо писать, и хорошо лавировать умел Ленин. А мы,

боюсь, хорошо плаваем по знакомому фарватеру и лавируем всегда плохо, в особенности против ветра. Впрочем — «в придачу нам всегда удача».

Сообщение о взятии Курска.

9 февраля. Вторник

Шумит голова: как будто что-то вылили, а нового нет еще…

Поэтому — не работал. А, может быть, потому что и не хочется работать — и откладываешь под любым предлогом. Двадцать пять лет тому назад я занимался наборным делом. Опротивело до тошноты. Сейчас мне кажется, что я опять стою у кассы. Если б статьи мои были стружкой с большой доски, которую я обстругивал для чего-то большого, тогда, понятно, они нравились бы мне. А сейчас я остругиваю рубанком доску в одни только стружки.

Прочел пять томов оккультной серии романов Кржижановской (Рочестер). Первые романы «Эликсир жизни» и «Маги» интересны, хотя с художественной стороны ценности не имеют. Но дальше — повторения. Герой Супрамата превратился в мага — существо всесильное, всезнающее, — и бесстрастное оттого. Естественно, что делать с таким героем нечего. Многие герои наших советских романов имеют чин «мага».

Любопытно вот что. Роман «Маги» написан в 1910 г. Предчувствие войны и революции было столь велико, что даже такой тупой, в сущности, автор, как Кржижановская, знавшая, несомненно, только азбуку оккультизма — если он вообще существует — могла кое-что предсказать. […]

«Несколько гуманных попыток погасить пламя войны кончились полной неудачей. Два раза мир был залит кровью и усыпан трупами. В одну из этих губительных кампаний побежденная Англия потеряла часть своих колоний, к выгоде Америки, которая подобно пауку всюду протягивала нить своей ненасытной алчности».

Напоминаю, что написано в 1916 году, а предсказание относится к 40-му! Особенно удивительно, конечно — две войны, что же касается английских колоний, то предсказатель, кажется, ошибся.

Роман мой, как бумеранг, прилетел из «Комсомольской правды». Впрочем, я уже потерял все надежды на роман.

Сообщение о взятии Белгорода.

10 февраля. Среда

Дома. Статья для «Известий». — «Все силы советского народа».

Сводка, между прочим, довольно ясно намекает, что идут бои на улицах Ростова.

[…] Сегодня звонили из «Гудка» и сказали, что к концу недели мне будет пропуск на фронт, с эшелоном танков.

Сообщение о взятии Чугуева. Мы в 25–30 км от Харькова, в дачной местности. Превосходно!

11 февраля. Четверг

Во сне — рыбачил, на удочку. Клевало хорошо. Сначала натаскал много мелких рыб, а затем поймал огромную. Так как сны, да еще такой резкой отчетливости, вижу редко, и так как в голове пустой шум, мешающий сосредоточению и работе, и так как несчастья приучают к суеверию, и так как нет для семьи денег и не знаю, где их достать, словом — достал «Сонник», едва ли не первый раз в жизни, и прочел. Увы, сонник ответил мне с двойственностью, обычной для оракула. Рыбу удить плохо. Но, поймать большую рыбу — хорошо. Не удочкой, а сетью очевидно. А коли удочкой, то, стало быть, ни богу свечка, ни черту кочерга!

Статья в «Известиях» не напечатана. Да, и ну их к лешему, устал я от этих статей!

Конечно, можно страдать, мучиться потому, что нельзя напечатать роман, или что статьи твои хвалят — не хвалят. Но, все же обычная, рядомшная жизнь куда страшнее всех твоих страданий. […] В вагоне две кондукторши — одна толстомордая, молодая и ужасно расстроенная, а другая тощая, еле двигающаяся. Вот эта тощая и разъясняет кому-то: «Пища у кондукторш плохая, холод, работа на ногах — они и мрут. И перемерли. Тогда провели мобилизацию — толстомордых — из булочных, столовых. Ишь, паникуют!» […]

Иду по улице Горького. Впереди, мелкими, старческими шажками, одутловатое лицо, на котором пенсне кажется капелькой… Боже мой, неужели Качалов!

— Василий Иванович, здравствуй!

— А, Всеволод… чеславич — забыв отчество, пробормотал он что-то неясное и подал мне, тем смущенный, руку в вязаной перчатке. — Как живем?

— Хорошо.

— Да, хорошо. Думаете, что теперь… Москве авиация грозить не будет… Немцы…

— Куда идешь, Василий Иванович?

— А в аптеку. Вот из аптеки в аптеку и порхаю.

— Почему же сюда? Надо в Кремлевскую?

— В Кремлевской того, что здесь есть, нет… Например, одеколон. А здесь я всегда найду, всегда. Прощай, Всеволод!

И он снял перчатку и действительно вошел в аптеку.

Если бы ему нужен был одеколон для туалета, он мог бы послать кого-нибудь. Значит, для питья? Ну тогда я не алкоголик!

И с этой глупой мыслью я бодро зашагал по ул. Горького к Красной площади.

12 февраля. Пятница

Кружится голова. Сижу дома. Нельзя ни писать, ни читать. Принял какие-то лекарства, прописанные года два тому назад, и вроде стало легче. […]

13 февраля. Суббота

Чувствую себя несколько лучше.

[…] Ночью зашли Михайлов и Федин. Длинная, до двух часов ночи беседа. Михайлов — о пленении Паулюса, о немце-снайпере, которого разорвали на куски наши, когда узнали, что тот убил 320 русских. Прогнозы Михайлова: победит Америка и, может быть, мы. Англия развалится или, во всяком случае, даст трещину. Мы, инспирировав статью Дюранти, напечатанную в американских газетах, высказали свои желания: нет претензий к Западу, а на Востоке желаем получить Порт-Артур, Маньчжурию, Шанхай и еще какую-то провинцию с советскими районами. В Касабланке велись переговоры о мире — Гитлер предлагал замириться за наш счет, со счетов Америки желает сбросить Италию и Финляндию. Внутреннее положение у нас остается такое же, только будет реорганизация промышленности. Мужик, увидав, что от немца нечего получить, стал нас поддерживать. Это не лишено правды. Кто-то, кажется Асеев, выразил это более красочно. Мужик бросил шапку оземь и сказал:

— Э, все равно пропадать, туда-то их!.. — и пошел бить немцев. […]

15 февраля. Понедельник

Комка так рад жизни, что от плесени, которая в их комнате покрыла не только стены, но и абажур — в восторге: «Красивые пятна».

А здесь — смотрят на небо — и думают о весне.

Рисунок победы: заняли Сталинград. Немцев пленили. Фронт прекратился. Пустынный, холодный, одни стены — город. Жгут фюзеляжи немецких самолетов. Костры. Выдали водки много — по 100 гр. полагается, но т. к. выдавали по спискам, а не по фактическому числу (много раненых и убитых), получили по поллитра. Выпили. Сидят у костров. И скучно. Взяли в руки немецкие ракетницы и начали для развлечения пускать ракеты. Всю ночь над Сталинградом горели разноцветные ракеты.

Прелесть Диккенса, особенно юмористическая сторона его, в том, что он подсмеивается над неподвижным и косным бытом. Натурализм этот юмор принял как форму и тем самым уничтожил юмор и создал роман, которому скоро будет уже сто лет. Быт нашей страны почти лишен косности (кроме, конечно,

косности бюрократической, но кто позволит об этом писать?), и, следовательно, натурализму, я даже бы сказал, реализму, нет места. То, что мы натуралисты — это не доказательство потребности, а доказательство трусости современного писателя, — и меня в том числе. Нужно отбросить все лишнее — описание портянок, которых, кстати сказать, мало, рукавиц, шинели. Лохмотья так однообразны! И так они похожи на шинели! Нужно оставить чувства, страсти, столкновения… Нужно создать романтизм. И без этого не обойдутся, так как и натурализм и реализм явления критические (Флобер, Золя, Чехов, Горький, даже Л.Толстой — все писали критику на существующий строй и человека), а надо искусство проповедническое, и значит романтическое. Шатобриан, а равно и немецкие романтики, были проповедниками. «Все это, допустим, верно, — возразят мне. — А как же проповедь? Ведь проповедь всегда и прежде всего что-то обличает, указывает на какие-то пороки и недостатки, которые надо искоренить. А ведь у нас, по мнению бюрократов, которые управляют искусством, нет пороков, а недостатки столь ничтожны, что лучше — прямо приступить к описанию добродетели». Я замолчу, ибо, по совести говоря, не знаю способа уничтожения бюрократов. […]

16 февраля. Вторник

У Кончаловского: «Лермонтов». К тому времени, когда будут напечатаны эти строки, вы уже превосходно будете знать эту картину: я не буду описывать ее. Я шел к Петру Петровичу и мало думал о том, что он мне покажет. На дворе — оттепель, я смотрел на тротуар, и он был желтый от песка, и машин стало больше. Я думал о наших победах и пытался нарисовать в уме теперешнее состояние немецкой армии… Петр Петрович, когда я вошел в комнату, глядел на меня глазами, полными слез. Картина мне понравилась. В ней чувствуется какая-то благородная манерность гения… А глаза Лермонтова — тоскливые и счастливые, глаза сына Петра Петровича — Миши. У него дочка, которая — ей два года — передразнивает, как смеется — в кулак — дедушка. В коридоре — печка железная. В гостиной холодище, мы все стояли в шубах. Петр Петрович сушит картину электрическим камином. Затем он стал рассказывать, как сначала, с этюда, написал «Казбек» и «к этому стал подгонять все остальное», т. е. Лермонтова. Написав костюм, он пошел справляться в Исторический музей — так ли? Оказалось, так… На это я ему сказал, что я, например, до сих пор не собрался съездить на Дальний Восток, чтобы проверить, так ли написан «Бронепоезд» и что Петр Петрович живей меня. Бурку он взял у знакомого — «бурая действительно! А теперешние — крашеные и у них плечи

подкладные!». Мундир на белой подкладке, как у всех кавалеристов… Портреты Лермонтова хоть и разные, но по строению лица, если геометрически вымерить, одинаковы… Предполагает назвать: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Я сказал, что не стоит, т. к. неизбежно будут путать эту фразу с пушкинской. Тогда он согласился, что лучше назвать «Лермонтов». Очень боится показывать художникам, обворуют: «Бурку непременно украдут! У меня Дейнека решетку украл, поставил за нее девушку голую… Наденут мундир современный — и готов генерал Доватор!»… «Никому не говорил в столовой, обманывал — вот, мол, снег выпал, а сегодня — бурка, а сабли не могу подобрать. Все думают — Петр Петрович пишет кавалерию, рубку! А тут — лирика!» Короче, чем говорить о художниках, лучше сжечь искусство!.. Глупостей наговорили мы много, но расстались очень довольные, предпочитающие всему опять то же самое чертово искусство и этих чертовых художников!

Взят Харьков.

17 февраля. Среда

[…] Получил хорошие письма от детей, с нарочным. Кома по-прежнему с восторгом описывает сырость в комнате и оба смеются над совещанием в Касабланке.

А совещание кое-что дало: не ожидая американского наступления, немцы, как сообщают сегодня газеты, перешли в наступление, потеснили на 20 миль американцев и заняли какой-то пункт. Для занятия всего Средиземноморского побережья немцы едва ли имеют силы, а частные успехи им что? […]

18 февраля. Четверг

[…] Видел: на мосту, по направлению Дома Правительства, со стороны Волхонки, две женщины, пожилая и молодая, волочат за веревку санки. Санки широкие, те, на которых возят дрова. Тащить трудно, вчера была оттепель, протаяло сильно и теперь, когда подмерзло, то лед оказался с землей. Пожилая женщина тащит усердно, лямки врезались глубоко в шубу, платок на затылке. Женщина помоложе, в белом шерстяном платке, еле тащит, не хочется. Но она и назад не оглядывается. На санках — лист фанеры. На этом, чем-то застеленном листе, сидит мужчина, лет тридцати, до пояса укрытый одеялом. На нем шинель, шапка-ушанка. Лицо у него истощенное, серое, но ласковое. У него нет одной руки и одной ноги. Дотащив санки до середины моста женщины останавливаются, передохнуть. Пожилая женщина сбрасывает лямку и подходит к калеке. Лицо у нее, — несмотря ни на что! — сияет. Это, наверное, мать. Калека смотрит на нее радостно. Женщина помоложе стоит, не снимая лямки, отвернувшись от санок. Мне хочется заглянуть ей в лицо, и я

тороплюсь. Обогнал, заглянул. Лицо измученное, лицо женщины, много рожавшей. Она недвижна. Она тупо смотрит на серую, унылую громаду Дома Правительства, и не видит ничего!.. Наша толпа, поглощенная собой, спешащая, все же оглядывается на эту троицу… Я спешу перейти на ту сторону моста.

А по другой стороне — она очень широкая и с той стороны надо уж очень внимательно смотреть, чтобы разглядеть «троицу», — идет командир со сверкающими золотыми погонами. К нему прижалась женщина в платочке. Глаза у нее полны слез. Она смотрит на него. И у него тоже скорбь в глазах… Они, конечно, не видели «троицу», — но они знают и без того, что такое война! А ему, должно быть, пора «туда».

[…] В небе, то тут, то там, словно открывают огромные вентиляторы, летают невидимые истребители, ибо солнца нет и тучи серые, и много их!..

19 февраля. Пятница

Дома. Писал и тут же перепечатывал рассказ «Честь знамени». Получается что-то длинное.

Наука всегда стремилась классифицировать. Теология мешала ей в этом. Но теперь теология не мешает — и наука словно сошла с ума. Каждая отрасль науки, — даже не наука! — старается приобрести свой язык, свои термины, свои значки. Литературоведение пока питается крохами, падающими со стола философии и экономики, но уже так называемые «формалисты» пытались изобрести — да и изобретут еще! — свой литературный жаргон. […] Поэты совершенно правильно делают, что не изучают жизни. И я говорил глупости, когда требовал «изучения». Во-первых, боль нельзя изучить, пока сам не переболеешь (а мы болели достаточно — и что толку?), а во-вторых, чем больше ошибок в твоей книге и чем ты меньше знаешь жизнь, тем ты будешь убедительнее. Корова умеет только мычать, а между тем из-за отсутствия жиров скоро вымрет пол-России, и не даром индусы обоготворили корову. Дело не в том, что «знаешь жизнь», т. е. понимаешь все эти значки и словечки, куда и что прикладывается, а дело в таланте. […]

20 февраля. Суббота

Исправил статью для «Гудка» об Украине. Легкая оттепель. Опять шум в голове. Вечером заехал Бажан. Он не сегодня-завтра улетает в Харьков. Сильно встревожен — «как-то они мне в глаза посмотрят? Наверно, им неприятно, и приятно. Да и что „это“ такое?». Приглашал к себе. Сказал, что в речи Геббельса, о которой упоминается в сегодняшних газетах, нет ни слова о Гитлере и что американские газеты пишут, будто Гитлера не то убили, не то он сошел с ума. Наверное, вздор.

Тревожимся, когда два дня нет хорошего «В последний час». Ночью пожалуйста — и хороший «В последний час»: наши взяли Красноград, Павлоград, т. е. подкатились к Днепропетровску и Полтаве! Ну, что ж, проделать за три месяца путь от Волги до Днепра — приятно и лестно. Правда, за три месяца немцы проделали путь от Вислы до Москва-реки […] Нонешний немец, слава богу, уже не тот.

Читал Бергсона — беллетристика, недаром он хвалит художников.

21 февраля. Воскресенье

Месяц назад отправил письмо Сталину. Ответа, конечно, нет. Но вот прошел месяц, и я думаю — правильно сделал, что написал. Не то что я жду каких-то благ (хотя, разумеется, ждал, как и всякий бы на моем месте), но надо было высказаться, отмахнуться от романа, отделаться от крайне неприятного ощущения, что надо мной посмеялись.

[…] Вчера иду по Петровке. Ну, как всегда мрачная черная толпа. Мокрый снег под ногами, и вообще похоже, что идешь по какой-то первой, к сожалению, очень длинной, площадке темной лестницы. Да и небо над тобой словно за тем матово-волнистым стеклом, что вставляют в уборных международных вагонов. У магазина стоит пожилая и голодная женщина. Через грудь, по сильно поношенному пальто, ягдташ-сумка, в нее ей надо бы класть деньги, ибо она продает «массовые песни». А масса идет мимо и не смотрит на женщину.

[…] Я получил повестку — явиться к военному комиссару 24-го, как раз в день моего рождения. Приходит дочь Маня, принесла повестку — ее мобилизуют в ФЗО.

22 февраля. Понедельник

Выходил в Союз и Военный комиссариат — бумажки «броня». Ветеринарный фельдшер убеждал комиссара мобилизовать его, не давать отсрочки. Комиссар сказал: «А вы бы переквалифицировались. Лошади все равно все передохли. Мы давно не приглашаем ветеринаров».

Приходили из «Гудка», приглашали писать. Многозначительно говорят:

— К нашей газете за рубежом приглядываются. Мы можем сказать то, что не скажет «Правда» и «Известия».

Ну а мне-то не все равно? […]

Согласился написать статью о Выставке к 25-летию РККА, надеясь, что там будет картина Петра Петровича «Лермонтов». Позвонил им. Ольга Васильевна сказала, что, хотя Петру Петровичу никто ничего не говорил, однако же он понял, что лицо у Лермонтова слишком безмятежное и он его подправил:

потому, де, и на выставку не дал. На самом-то деле, наверное, сказали ему, потому что настроение это входит в настроение, которое прорывается в газетах — Россия-то Россией, товарищи, но надо помнить, что и тогда… Словом, всплывают охранительные тенденции, — грозопоносные.

«В последний час» нет. Хорошо, что не подгоняют победу к юбилеям, но все же настроение падает. Видимо, мешает распутица. В Москве оттепель, почти слякоть.

Читал свод статей по Достоевскому: современников и более поздних. Убожество ужасающее. Прекрасен только Владимир Соловьев да К.Леонтьев — и не потому, что они правы в оценке, а потому, что талантливо, и ощущали, что Достоевский — сооружение больших размеров, гора.

23 февраля. Вторник

По приглашению «Труда» пошел на выставку 25-летия Красной Армии, чтобы написать статью. Посмотрел — и отказался. Худо не то, что плохие картины […] — а худо то, что от выставки впечатление такое, что люди посовали что попало и куда попало. По залам ходили тощие люди в черном, преимущественно художники и их жены, скучая, глядели на рамы, именно на рамы, а не на картины.

Вечером зашел Б.Д.Михайлов. В международной обстановке изменений нет, разве что наши отношения с союзниками становятся все холоднее. Закрыта «Интернациональная литература», поскольку, мол, этот журнал стал англо-американским — «а это нам не нужно».

[…] Лагерь пленных. Комендант Великих Лук, которому Гитлер обещал переименовать город в его честь. Его просят доложить пленным, как он защищал Великие Луки. Он поправил на шее железный крест и начал: «Я — враг большевиков, но я в плену». Затем — вопросы пленных: «А почему полроты погибло, которых вы посылали за баранами?», «А восемь человек перебили ходили они за молоком для вас?» Все вопросы в струнку, по форме. И под конец: «Почему вы не выполнили долг немецкого офицера — не застрелились?» Полковник объясняет так, что у него выбили из рук револьвер. Под конец собрания выносят единогласное решение: «Просить коменданта лагеря выдать на один день револьвер господину полковнику Зельцке».

24 февраля. Среда

Позвонила Екатерина Павловна — поздравила с днем рождения. Была в Горках — полное разорение. Да и то сказать — что может уцелеть, если проходили мимо армии! То же самое у нее на даче в Барвихе. Все поломано и побито.

Утром — комиссариат. Заполнял анкету, вернее, заполняла

какая-то грудастая девица, которая никак не могла понять — как это я не служу? И была довольна, когда я ей сказал: «Ну, пишите — служу в Союзе Советских Писателей».

Вечером — Николай Владимирович и Бажаны, который все не может улететь в Харьков. Николай Владимирович к дню рождения подарил мне «парабеллум» с патронами, а Маня — стихи мрачного свойства о «Старом доме». Ужас, как мрачно!

Идут разговоры, что немцы контратакуют нас.

25 февраля. Четверг

Похоже — «контратакуют»: впервые, после долгого перерыва в сводке нет наименования занятых нами мест, а о контратаках упоминается. […] Рузвельт, отвечая радиокомментатору, сказал, что нет оснований думать, будто русские, прогнав немцев, закончат войну. И так как это стоит на первом месте, то странно… Конечно, прогнать немцев до советской границы не так-то легко…

Был на заводе «Динамо», в литейном цеху.

26 февраля. Пятница

[…] Сводка — «Наступательные бои».

Без пунктов — взятых. Телеграммы из заграницы подобраны, требующие, так или иначе, Второго фронта. Одна говорит, что, если, мол, дать немцам сейчас два месяца для поправки (подразумевая весну), то это будет непоправимой ошибкой, которую не исправить в два-три года. […]

Город усиленно готовится к газовой войне. Приятель Татьяны, газист, сказал, что так как против этих газов не действительны противогазы, то им приказано выводить население из зараженных пунктов. Было два случая подлета к Москве бомбардировщиков… И если к этому добавить слова Бажана, который приходил сегодня ко мне за книгами, что немцы сосредоточили в районе Ржева 90 дивизий, то есть миллион, то настроение Москвы будет слегка понятно.

В доме — праздник. Татьяна, с большим трудом, достала мне калоши огромные, блестящие новые калоши на красной подкладке, с приложенными суконными стельками!

27 февраля. Суббота

[…] Шел по улице, возбуждая у прохожих внимание своими новыми калошами. […]

По обрывкам газет — здоровье Ганди ухудшилось. Англичане, для престижа империи, в такое опасное время вряд ли согласятся освободить его, да притом безоговорочно. Запрос в Палате Общин о газовой войне: «Мы, англичане, зальем в случае чего, города Германии газами». — Весело, черт дери!

Предложение г-м Вадимова, — редактора «Красной звезды» —

поехать в какой-либо освобожденный город. Я согласился. […]

Татьяна шла с калошами мимо Арбатского рынка. Хотела купить клюквы. Смотрит, рынок закрыт. Спрашивает, почему? А так как у нее в руке сверток, то к ней кинулись: «Хлеб? Продаете?» и сразу человек двадцать!

Да-с, прохарчились мы. […]

28 февраля. Воскресенье

Звонили из Ташкента. Наши выезжают 11-го. Стало быть, приедут недели через три.

Миша Левин видел генерала Рокоссовского, который осматривал противовоздушную оборону Москвы. Оный генерал командует, говорят, Западным фронтом. Дай бог, чтоб ныне он уже не защищал Москву, а гнал немцев прочь.

Сыро — оттепель. Прошел пять кварталов, почувствовал слабость и вернулся. Читал стихи Фета, Достоевского, Келлермана и кончил Бальзаком, а дрожжи внутри бродят и бродят.

Уже пятый месяц в Москве. Кроме десятка статей, ничего не сделано, а живу! Со стороны подумать — легкая жизнь, бельведер какой-то, а просто, жизнь, как река, дает колено.

1 марта. Понедельник

[…] Приходила О.Д.Форш. Повторила свои рассказы о внучке, которая спрашивает — трех лет — о боге… и старуха очень рада этому обстоятельству (а небось, сама и научила, не замечая того), восхищалась «Дядюшкиным сном» в МХАТе. […] Екатерина Павловна рассказывала, утащили два чемодана, утащат последнее. Вот так и говорит, делая ротик как колечко, — от молодости осталось кокетство. И говорит так правомочно, как будто от всей литературы… […]

Вычитанная пословица: «Мир с ума сойдет — на цепь не посадишь».

3 марта. Среда

[…] Перепечатывал рассказ «Честь знамени». В газете «Труд» напечатан мой очерк, искромсанный, конечно. Писатель я, должно быть, с ворсом, да не в ту сторону — и не блестит и не греет.

Над чем смеялись великие сатирики мира? Во Франции Рабле — над обжорами, пьяницами и щеголями. В Англии Свифт — над людским тщеславием и самомнением. В Испании Сервантес — над попытками перестроить мечом мир. А у нас в России? Салтыков-Щедрин над бюрократией. И старик был прав. И поныне бюрократы, как прачки — стирают, чистят, катают и гладят нас, думая вымыть добела. А Козьма Прутков? До войны выдержал 15 изданий. […]

Взят Ржев: пистолет, приставленный немцами к виску Москвы. […]

4 марта. Четверг

Бажан назначен Зам. Пред. Совнаркома УССР, а П.Тычина — Народным Комиссаром просвещения. Надо думать, что это значит — хотят несколько «спустить на тормозах» то настроение, которое возникает после прихода не армии, а идущих за ней бюрократов, которые губят человека не за понюшку табаку.

В Клубе нам решили выдать вместо той бурды, которую я получаю, сухой паек. Таня бегала пять дней, а сегодня ей грубо говорят: «Всеволод Иванов не получит… Может быть, в следующем месяце. Пусть берет обеды!»

Если бы не поддержка «Гудка», не знаю, чем бы я жил.

[…] Железная дорога между Ржевом и Великими Луками освобождена полностью — значит наши спускаются к Смоленску.

Никулин сказал, что Комитет по Сталинским премиям хочет дать премию Пастернаку, за переводы. Это все равно, что типографщику платить не за все издание книги, а за то, что хорошая краска. […]

5 марта. Пятница

Посетил семью Гастелло. Два раза был в партизанском шта-бе — видел и разговаривал с четырьмя партизанами, а также читал очень интересные письма партизан, которые, небось, так и погибнут в архивах. […]

7 марта. Воскресенье

Отдыхал. Ходил к Пешковым на блины. Дочки Надежды Алексеевны мечтают быть киноактрисами. Трауберг, кинорежиссер, весь начиненный иностранными сюжетами рассказов и романов, равно как и группой жестов. […]

Взяли Гжатск. Сталин — маршал!

[…] Судьба германских генералов все еще волнует интеллигенцию. Говорят, они живут под Москвой, в санатории, «хорошо питаются», имеют библиотеку, кино. Наши создают несколько ударных армий, которые пойдут на Берлин.

8 марта. Понедельник

Телеграммы: наши откладывают выезд — заболел Комка «легкой формой желтухи». Вот не везет парню! Ну, мы, естественно, огорчились. Без детей скучно и даже бессмысленно.

Пьесы, которые у меня возникают, всегда вначале выливаются в заглавие. Пусть позже я его переменю, пусть оно однодневно даже, все равно заглавие всегда тесно сливается с замыслом. Сегодня наоборот. Придумал пьесу, но заглавия нет и я о нем, что удивительней всего, не думаю. Это сочинение без номера. Думаю почему-то, что напишу ее быстро. Несомненно одно — героизм ее

навеян посещением дома Гастелло и завода «Динамо». Вы, конечно, можете сказать, а где же ваша теория, что писатель должен видеть мало? Но, в том-то и дело, отвечу я, что ведь видел я именно мало. Разве я говорю, что для того, чтобы быть художником, надо ослепнуть?

В «Правде» статья под названием «Свободная Польша».

Взглянув на нее, я подумал — опять с поляками лаемся. Оказывается, другое. Новая польская газета, которую, надо думать, редактирует Ванда Василевская. Газета направлена против тех панов, что шумят в Лондоне. И какой-то пан Грош, купленный нами не за грош, а за копейку, кричит, что Польша не нуждается в Западной Украине и Западной Белоруссии. Событие шито не только белыми, но и сверкающе белыми нитками. Я, грешный, думаю, что этой газетой мы угрожаем Англии, заявляя, что «подпишем мир с Германией, устроив буфер из Польши».

По улице Горького ведет женщина пегую тощую корову с лохматой шерстью и маленьким выменем. Впереди ребенок тащит санки. По бокам санок — две козы. Ребенку тащить трудно — там лежат какие-то мешки. Мать подталкивает мешки палкой. […]

Легкий морозец. Облачно. Сквозь этот сопливый цвет облаков все же пробивается весеннее солнце. […]

Взята Сычевка. Наши приближаются к Вязьме. С другой стороны, — как сообщил Михайлов со слов английского радио — немцы взяли Славянск, Краматорскую, Лозовую и в некоторых местах вышли на Донец. Наши об этом молчат. Газеты по-прежнему полны приказами.

10 марта. Среда

[…] Принесли газеты. Так и есть. Контрнаступление немцев. Отданы Лозовая, Краматорская… немцы рвутся к Харькову. Дивизии немцы привезли из Западной Европы: намек на союзников. А что ж тут намекать? Нужно яростно ругаться! Словом, сообщение крайне прискорбное, указывающее на то, что у немцев сил достаточно, и они нас могут бить и бить. […]

Вечером сообщили о взятии города Белый в Смоленской области. Наши ребятки, должно быть, идут прямо по лесам и болотам к Смоленску.

11 марта. Четверг

Всякий, кто хочет получить власть, должен унизить прошлое своего предшественника, которое, мол, потому было плохим, что не существовало у власти его, объясняющего жизнь! Будущее предстоит великолепное, потому что налицо — он, объясняющий. Если же это будущее, как оно и бывает всегда, окажется плохим, объясняющий всегда может свалить неудачу на своих врагов. Написаны сотни-тысячи книг о том, каким способом людям стать

хорошими, а о том, как им стать плохими, руководств почти нет. И тем не менее, люди гораздо искусней в зле, чем в добре. Кончится это тем, что людям надоедят книги и они переменят значки — способ изложения своих мыслей, — думая, что они меняют головы. И тогда все пойдет сначала… За эти мысли дураки назовут меня пессимистом, умные — глупцом, счастливые — слепцом, а несчастные — оптимистом, тогда как я только дитя, которое долго не становится на ноги.

Сегодня Таня должна получить распоряжение, чтобы Маню, мою дочку, освободили из ФЗО. Маня потрясена. Пятнадцатилетние — курят, ругаются матерно. Тут же, вместе с детьми, на заводе работают уголовники из тюрьмы. Их кормят вместе. Но пища такая — она не избалована пищей! — что она есть не в состоянии. […]

Москвичи очень встревожены. Это чувствуется по толпе. Машинистка, перепечатавшая мне рассказ, сказала: «Вчера уже хотели давать тревогу. Они летят на Москву». Ее матери 68 лет. Она не встает. «Почему?» — «Слабость. Недостаток питания» … Ройзман, приехавший из Свердловска, рассказывает: он продавал на базаре хлеб. На него накинулись так, что он крикнул милиционеру: «Ну, берите меня!» Какой-то дядька стукал себя в грудь, стоя перед ним, и кричал: «Ну, бери 400 рублей! Бери! Я два дня не ел!» […]

Лохматый, оборванный, в калошах на босу ногу, в старенькой шляпе, надетой на грязные космы, к тому же еще прикрытые беретом, идет рядом с Шкловским некто старый, лицо в кровоподтеках, бледно-синий, половины зубов нету. «Знакомься, профессор Ильин». — «Не пугайтесь», — сказал он мне. «Что же пугаться, я всякое видал». Это учитель Кулешова и Эйзенштейна. Доголодался! Хлопочет, чтобы ему выдали две хлебные карточки. Тронулся. «Сейчас человеку пропасть ничего не стоит», — сказал он и пошел от нас.

Солнце. Лужицы. С крыш капает. Лед на реке уже совсем пропитался водой и стал бутылочного цвета — именно тех бутылок, которые выпускают сейчас. На сердце тихая тоска, как будто жердью по ребрам ударили, да кувырком перекувырдышка!

Работал над пьесой.

Выступление американского посла в СССР. Он сказал, что советские газеты не публикуют сведений об американской помощи. Скандал! Что это? Мы вели переговоры о сепаратном мире? Или Америка хочет выскочить вперед?

По-моему, немцы сейчас хорошо ударят на юге, а в начале апреля нападут на Турцию. […]

12 марта. Пятница

Небо покрывается тучами, — и в буквальном, и в переносном смысле. Сводки намекают, что положение западнее Харькова весьма серьезное. Немцы подвезли много войск. Возможно, Харьков немцы опять возьмут. Так можно понять по газетным статьям, которые не зря говорят о превосходящих силах противника. Ровная серая пелена застилает небо, солнце не продавит ее. Перед дождем…

Совещание в «Гудке». Когда десяток писателей собирается в газете, им говорят: «Вам надо поехать смотреть жизнь». Те говорят — отлично. И в результате — три-четыре плохих очерка. Корреспонденты рассказали несколько любопытных историй. […] Немцы заняли станцию, а там остались наши вагоны — 15 штук, говорят, с ценным грузом. Машинист вызвался вывезти. Он прокрался на станцию, прицепил вагоны и поехал обратно. А тем временем ситуация стала другой: по одну сторону линии лежали немцы, по другую наши, друг от друга метрах в ста. Их разделяет железнодорожное полотно. Идет поезд. Никто из поезда не выглядывает и не стреляют, так как обе стороны боятся обстрелять свой поезд. Машинист рассчитал правильно.

13 марта. Суббота

Писал пьесу. Придуманное название не годится. Нового нет.

[…] Лунная ночь. В уровень домов висят аэростаты заграждения, похожие на штаны.

Боюсь — не растянули ли мы линию фронта в глубину, и не далеко ли оказались резервы? Т. е. не произошло ли той ошибки, которая была нами уже сделана в прошлое лето под Харьковом. Поэтому немцы нас и бьют. Поэтому мы печатаем длинные отчеты о банкетах, посвященных теме помощи США нам, а равно и во всю страницу — немецкие зверства. Зверства, конечно, отвратительные, но почему мы всегда их печатаем, когда дела наши на фронте плохи?

14 марта. Воскресенье

Ночью звонила Тамара, должно быть, взволнованная положением на фронте.

[…] День солнечный, теплый. В небе тишина. Вчера, перед закатом шел по Каменному мосту. За кино «Ударник» две фабричные трубы. Из одной несется дым, он заволакивает другую: закатное солнце освещает дым, и труба уходит далеко — далеко.

15 марта. Понедельник

[…] В «Правде» на трех колонках напечатан статистический отчет о помощи США нам. Оказалось, что не зря наши молчали об этой помощи.[…]Помощь, надо сказать, солидная. […]Отрицая же помощь или сведя ее к нулю, мы преувеличивали свои силы и

заставляли Германию считаться с нами, а значит, и могли заключить сепаратный мир. Теперь, «раззвонив о помощи», мы лишены возможности заключить мир. Мало того, американцы могут позвать нас на «конференцию» и потребовать «некоторых» политических гарантий. […]

Дома. Писал пьесу. Закончил вчерне первый акт. Название «Баба». Вчера придумал: «Если мерцают звезды». Но это выспренно и чересчур подчеркивает тему. «Баба» — просто, обыденно и так как «Баба» должна быть хорошая, то, гляди, и получится героично. […]

Статья моя «Партизанки» изъята партизанским штабом, потому что в последнее время у них много арестовали партизанок-разведчиц. Как будто если статью не напечатать, то немцы арестовывать перестанут!

16 марта. Вторник

[…] Почему в еврействе мог появиться Христос? И вообще христианство? Еврейство — наиболее ярко из всех народов проявило себя в любви друг к другу, ибо любовь к народу, — пока она не всечеловеческая — наиболее ярко выраженная, родит и любовь всечеловеческую. Поэтому Рим, более всего возлюбивший свою страну, и мог принять христианство. Все остальные страны принимали уже христианство, как они принимали римских послов. Византия, конечно, тень Рима.

Приходил А.А. из «Вечерней Москвы». Сказал, что в газетах напечатано наши оставили Харьков. […]

Интересно бы, в свете нашего поражения сегодняшнего на Украине, прочесть показания германских генералов, взятых в плен под Сталинградом. Не ввели ли они наших в заблуждение? Не заморочили ли голову?..

17 марта. Среда

[…] На юге наше отступление продолжается. В «Правде» напечатано неопределенное мычание, из которого все же можно понять, что дела на Северном Донце — дрянь.

Распахнули, было, мы ворота на Украину, а въехали, выходит, в подворотню, в калитку. Гадко на душе. […]

Таня получила 376 рублей за «Партизанки», напечатанную статью в «Известиях». Вот на это и живу.

[…] Звонила Нина Владимировна Бажан — как здоровье? — Нет ли новостей от Николая Платоновича? — Получила письмо. А вы что делаете, Всеволод Вячеславович? — Пишу пьесу. — Молчание. — Что такое? — Да очень удивительно, как в такое время можно писать пьесу. О чем? — О любви. Опять молчание, еще более удивленное. […]

Что такое искусство? Мыльный пузырь. Кто были Гомер,

Еврипид, Шекспир или безымянный автор «Слова о полку Игореве»? Тогда как биографии великих истребителей человечества, преступников, в сущности, великолепно известны Александр Македонский, Цезарь, Наполеон и сегодняшний дьявол — Гитлер. Я говорю не к тому, что искусство важнее войны (хотя эта мысль тоже не так уж плоха), а к тому, что если встать на точку зрения людей, говорящих, будто бы человечество эволюционирует (Спенсер и другие), то почему же оно тогда помнит только о солдатах и войне?.. Война приносит пользу человечеству? Чингисхан, Батый, Наполеон?!..

В Сибири зверовщики ходят на сидьбу (сторожку) до росы, надев сапоги с деревянными подошвами, чтобы своим следом не «надушить». Так вот, войны так в нашей жизни надушили, что и дохнуть нельзя.

18 марта. Четверг

Писал пьесу.

Вечером пришел А.Крученых, исхудавший, с резко обозначенными лицевыми костями, грязный, в засаленном пиджачишке. Мечется по комнате, хватает книги, бумагу… До карандашей не дотрагивается. Говорит: «Съедаю кило-полтора в день, но мало. Жиров нет. Теряю в месяц 400–500 грамм. Если еще год война протянется — ничего, меня хватит. Но на два года… Хо-хо… Пожалуй, нет, а?» […]

19 марта. Пятница

Сон: рыли узкую яму, клад, я и А.Н.Толстой. Уже видно что-то белое, узкое… Проснулся! Заснул опять. Но так как сон был яркий и второе спанье не заглушило его, то, встав, по обычаю предков, взглянул в «Сонник». Предстоит какое-то великое счастье, а затем такое же великое несчастье… […]

Прочел С.Обручева. «В неведомых горах Якутии». Попервоначалу даже интересно. Написано чисто, легко, тема — любопытная. Поехал ученый геолог отыскивать платину, а открыл неизвестный хребет, названный им Хребтом Черского.

Писал пьесу. Сдал книжку в «Советский писатель» — очерки и рассказ о сержанте Морозове, назвав его «Встречи». Да не примут, наверное, а если примут — будут печатать два года.

Миша Левин восторженно сообщает, что над Москвой сегодня, на высоте 13 тысяч метров летал немецкий разведчик. Наши самолеты на такую высоту подняться не могли. Восторг его потому, что немца за 120 с лишним км поймал Мишин аппарат и следил за ним все время.

20 марта. Суббота

Писал пьесу. В черновике — окончил.

Опубликованы Сталинские премии. Нельзя сказать, что кого-

то пропустили или обидели. И можно порадоваться за Петра Петровича Кончаловского и Леонида Леонова, которых стоит наградить. Признаться, я ожидал премию за «Александра Пархоменко» — не мне, конечно… а хотя бы Хвыле, Лукову, Богословскому. Но, видимо, от меня идет такой тухлый запах, что и остальным тошно.

Чтобы немножко развлечься — согласился выступить на вечере командиров школы снайперов. Школа за городом, возле Дворца Шереметьева. Холодное здание, ходят командиры и курсанты, которым до тебя нет никакого дела. Вера Инбер, рассказывающая о том, как удивителен Ленинград — огороды, граммофончики: налет кончается, раскрываются окна и опять граммофончики. Худенькая, старенькая, с тоненькими лапками и на глазах слезы, когда она говорит о граммофончиках. […] Холодно. На улице орут песни солдаты. Часовой, неизвестно для чего, стоит в коридоре. И вся зала в золотых погонах… Никого из нас не знают. Накормили обедом, дали по 100 грамм водки, и мы уехали. А на полях уже снег почти стаял, деревья лиловые…

Рассказ Таниного приятеля, художника, работающего во фронтовой газете. […] Красноармеец ведет пленного. Мины. Осколком ранило красноармейца в голову. Пленный показывает: «Развяжи, я тебя перевяжу». — «Ну что же. Все равно погибать, а тут еще есть надежда!» Развязал. Немец перевязал красноармейца, взвалил его к себе на спину и понес в часть. Принес. Красноармеец кричит со спины немца: «Товарищ командир, я пленного привел».

Завтра два месяца, как я отправил письмо в ЦК по поводу моего романа.

22 марта. Понедельник

Написал статью для «Красной Звезды» об А.Толстом.

Звонил Б.Михайлов. «Новости есть?» — «Ничего особенного, но в среду-четверг приду, поговорим». В газетах: отдали Белгород, японцы потопили наш пароход «Колосс». Японцы попугивают — соглашайтесь! […]

[…] Студенты производят раскопки. Подходит старик, ему объясняют, что такое исторические изыскания. Старик спросил: «А кто такой Иван Сусанин?» Ему объяснили. Старик и говорит: «Это, верно, теперь только обнаружилось, что в старину много людей было за советскую власть». И никакой иронии!

23 марта. Вторник

Отчаянная телеграмма из Ташкента: не могут выехать. «Гудок» обещает послать требование.

[…] Дни все еще солнечные, на тротуарах скалывают последний грязный лед, обнажены ободранные дома, — идешь и

кажется, что ошибкой обменял свою жизнь на чужую. Встречаю М.Шолохова. Ловкая шинель, смушковая кубанка, золотые погоны, сытый, выбритый, с веселыми и беспечными глазами. Сначала, одно мгновение — не узнал, поэтому, узнав, сказал, что я «хорошо выгляжу»… Спросили друг друга о семье, и он сказал: «Значит, увидимся?» И ушел, не спросив, где я живу, и не сказав, где он живет. […]

Улица, унылая, как подкидыш. Идет писатель Малашкин, ведет за ручку крошечную девочку в беленькой шубке. «Дочь?» — «Внучка. У меня ведь двух сыновей на фронте убило. Живу в рабочей комнате, в пятом доме Советов. Квартира разбомблена. Роман написал — „Петроград“. Приходи, потолкуем». Этот дал адрес.

На бульваре читаю газету, превращенную в список награжденных Сталинской премией по науке. Позади слышу:

— Как живешь?

— Мышкую.

— Чего?

— Да, ты уж совсем охоту забыл? Это про лису говорят, которая, мышкуя, обежит луг. И не сыта, и не голодна.

…Восток, раньше всех народов, нашел смысл жизни. Движение — зло. Неподвижность — добро. Чем быстрее движение, тем оно опаснее для человека. Самолет принес бомбу в 3,8 тонны. А все увеличивается сила взрыва?

24 марта. Среда

[…] Встретил П.П.Кончаловского, розовый, седой, веселый. Стали говорить о сегодняшнем сообщении «Информбюро» и П.П. привел сказку: «Заяц напился и идет по лесу, ругается: „Дайте мне волка! Я ему, так-то его растак! Я ему яйца выдеру! Подайте волка!“ А волк тут как тут из-за дерева. Заяц вытер холодный пот на лбу и сказал, криво улыбаясь: „Ну, вы же сами понимаете, что можно спьяна наговорить“.» […]

Не работал. В голове шум. Раньше я объяснял это сыростью, но сейчас подморозило…

25 марта. Четверг

Много дней звонил в партизанский штаб, добиваясь материалов о Заслонове. Наконец, сегодня удалось посмотреть. Фигура очень интересная, драматическая, а по сцеплению событий возле него — просто удивительная! Вот уже подлинно, если о ком писать, так о нем нужно говорить, — «не сказка, а быль».

Пришел, неожиданно, Никулин и так же неожиданно принес карточку в столовую Моссовета, — правда, до конца месяца, — но и на апрель обещали!

Моя статья об А.Толстом напечатана в «Красной звезде» — сокращенная несколько.

Никулин мрачен: немцы в апреле хотят начать наступление, пустили на Харьков 2 000 танков, гвардию… вокруг Москвы нет укреплений, страна расхлябанна… литературы нет… С последним я согласился, а про все остальное сказал, что у нас каждый день — прощеный день, и к посту привыкли, а немцам нас не сожрать!..

В половине двенадцатого приехала Анна Павловна. В семь часов вечера моя дочь Маня отравилась купоросом, взяв его из «Химик-любитель». Приняла чайную ложечку. Единственно, что ее может спасти — у Анны Павловны случайно оказалось пол-литра молока. Девочка перепугалась, сразу же сказала матери. Анна Павловна дала ей молока. Через полчаса приехала карета скорой помощи. Как только Анна Павловна пришла, мы позвонили в больницу Склифосовского. Там сказали — опасности для жизни нет, спит. Девочку потрясло ее пребывание в ремесленном училище, попытка дочери Любы — племянницы Анны Павловны, двенадцатилетней, выброситься из окна, т. к. Люба хочет выйти замуж, и дочь ревнует. […]

26 марта. Пятница

Моссовет. Зав культсектором, симпатичная дама учительского вида, спросила у Тренева про меня: «Кто это? Лицо знакомое». Тренев сказал. Она здоровается:

«Я вас, товарищ Иванов, не узнала. Вы стали тенью Всеволода Иванова».

Дочитал Костомарова.

Говорил с Баулиным («Гудок») о пьесе — «Инженер Заслонов».

27 марта. Суббота

Маня выписалась из больницы. Настроение ее — подавленное. […] Переделывал (из старой статьи) выступление на вечере М.Горького по случаю его 75-летия со дня рождения.

В столовой Моссовета меня приняли за вора. Кто-то — Иванов — потерял талоны […]. Пропускающая сказала: — «А ну, пойдемте к заведующему». И таинственно добавила: «Что-то я вас тут не видала».

[…] Телеграмма. Наши выехали из Ташкента, вчера.

28 марта. Воскресенье

Выступал рано по радио.

…Холодный зал им. Чайковского, в котором чувствуешь себя как чаинка в чайнике, — утренник о Горьком. Прочел то же, что и по радио. Чуковский возмущался современными детьми, говорит, что будет писать об этом Молотову (проституция, воровство,

прячут во рту «безопасные бритвы» и подрезают друг друга), а затем рассказывал аудитории анекдоты о Горьком. Федин классический, как собрание сочинений, прочел из беленькой книжки, которая только что вышла — воспоминания. И негодовал, что у него что-то вырезали!.. Сурков, в золотых эполетах, уже стертых по краям, наклонившись к публике, беседовал с ними о Горьком, который, видите ли, был к нему близок!.. Никто не верил этому прокуренному голосу и этим пустым и ненужным, как потухшая спичка, стихотворным строчкам. Холодно. Публика в пальто. Екатерина Павловна благодарит Федина за прочитанное, Надежда Алексеевна, как всегда, обольстительно улыбается…

Оттуда зашел к Мане. Она расчесывает волосы, смотрит книжку, улыбается… В юности отец не понимал меня, и я не очень его понимал. Так мы и расстались. И вот теперь я стал старый, смотрю на дочь, которая третьего дня хотела отравиться, и — тоже ничего не понимаю, не найду истинной причины.

Харьков (рассказывал знакомый Татьяны): «Ночью идешь и — звенит железо, балки в сожженных и разрушенных домах; все новости у водопроводной колонки; дети многие говорят по-немецки; жители приветствуют полуфашистским поднятием руки — наполовину; ночью, после восьми, ходят только „ответственные“, в них стреляют; подошел и спросил у прохожего — как пройти туда-то, а тот поднял руки — немец; радиоприемник, вмонтированный профессором в стену, передавал сведения „Совинформбюро“ — двум, остальные, каждый, тоже двум, так и шло „по цепочке“, заводил граммофон чтобы слушать передачу; матросы, скованные по рукам и ногам, идут под немецким конвоем по улице, увидали, что девушки идут под руку с немцами — закричали: „Эй, разъебы, по хуям стосковались, будьте вы прокляты!“

С К.И.Чуковским — о дневнике. „Ведь я не пишу о войне, а только о литературе, о войне будут писать все, а о литературе — никто, тогда как это-то и будет наиболее интересно позже“. Я ему сказал, что веду дневник о себе, и для себя, так как, если удастся, буду писать о себе во время войны». — «А вот я об Екатерине Павловне, что она рассказывала, запишу». Сестра Надежды Алексеевны слушала передовую «Правды» и ей показалось, будто передовую эту написал Сталин: «диктор читал так многозначительно». Не проверив, — она и бухни благодарственное письмо Сталину, что, мол, нашли время написать о Горьком, — в такие дни… Были Толстой, Леонов, Федин, — и родственники. Леонов, важный, опухший, рассказывал о бане, что он рассказывал уж сотни раз. Это не

значит, что не наблюдательный, — но он так жаден, что не передает своих наблюдений, боясь, что украдут. Поэтому для внешнего употребления у него есть — баня, кактусы и обработанные наблюдения, которые он уже вложил в романы.

Толстой сказал: «Вы, Всеволод, похожи на бухгалтера. Был такой бухгалтер, сидел тихо, говорил мало, весь в черном. А вдруг вскрикнул, вспрыгнул на стол и пошел прямо по блюдам и тарелкам!»

29 марта. Понедельник

Предложение от «Красной звезды» поехать в Вязьму. Согласился. Они сказали, что поедем послезавтра, на машине.

Прочел книжицу Федина «Горький среди нас». Жеманно, но это передает как-то тот пыл, которым мы были охвачены в 1921 году, я говорю о творческом пыле. […] Обо мне Горький всегда думал неправильно. Он ждал от меня того реализма, которым был сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был совсем другой, и это его не то чтобы злило, а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в этом русле мне удобнее и тише плыть, я и пытался даже… Но, к сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче говоря, я до сих пор все еще другой, и дай бог остаться этим другим — противоречивым, шалым, тщеславным, скромным. […]

30 марта. Вторник

Написал статью для «Гудка» о Заслонове.

Дождь, сырость. Лед на Москве-реке треснул.

На фронтах «ничего существенного» — распутица.

Из «Красной звезды» позвонили дополнительно — едем завтра от 11 до 12 часов. Так как за день до Вязьмы не доехать, то заночуем в дороге. Надо взять продовольствие.

10 апреля. Суббота

Всю поездку на Западный фронт записал на отдельных листочках; переписать их в тетрадь, сводить в целое, — нет ни времени, ни желания. Два дня по приезде — оправлялся от кошмара, который я видел, и вот ныне — опять мысли о «Сокровищах Александра Македонского».

Выступил по радио. Приходил Л.Никулин. Он читал «Красный ТАСС» английские газеты сходятся на том, что немцы поведут наступление на Москву через Воронеж-Рязань, но, мол, Москва будет вторым Сталинградом и продержится не менее полгода. Рассуждения, может быть, и остроумные, но газеты редко являются предсказателями…

Два дня назад был у меня М.Бажан, тощий, унылый, в грязной гимнастерке. «Зачем мне это нужно?» — говорит он о своем посте.

Из намеков его понимаешь, что он не высокого мнения о количестве наших резервов, и что немцы стремятся сейчас уничтожить нашу боевую силу. На Украине формируется русская добровольческая армия под командованием генерала Власова и «мусульманский легион». То и другое из пленных. Пленный есть пленный, если он один раз благополучно сдался, ему захочется сдаться и второй.

[…] Читал Э.Бернштейна «История материализма». Чтение полезное. В особенности, когда посмотришь, что такое война. Материализм и прочие системы, думающие преобразовать мир, — деревянные кубики, которыми играет дитя. Ребенку они кажутся необыкновенно сложными и вполне объясняющими жизнь: поставить так — дом, поставить этак — фабрика, этак — полки солдат. На самом же деле это только полые деревяшки. Пройдет время, дождь, ветер, кубики разлетятся в разные стороны, размокнут, рассыплются, и взрослый человек дай бог если увидит на их месте щепки, а то и того не найдет.

Смотрел «Пушкина» Булгакова.

11 апреля. Воскресенье

Вечером, зашел Б.Д.Михайлов. По подсчету, который он нам огласил, выходит, что немцы не располагают достаточным количеством танков и самолетов, чтобы идти на Индию, т. е. ударить на Турцию. И дальше — его прежняя концепция: Америка и Англия сговариваются с Германией о мире, посол Англии из Ватикана, в сопровождении итальянских истребителей, через Швейцарию и Францию, срочно улетел в Англию.

12 апреля. Понедельник

…> Написал статью о «Последних днях» («Пушкин») для «Московского большевика». Вечером оттуда позвонили: «Статья понравилась, но, к сожалению, длинна. Впрочем, без вашего согласия мы ее сокращать не будем. Но даже дело не в этом, а в том, что мы получили указание — не печатать несколько дней ничего о „Пушкине“». […]

13 апреля. Вторник

В «Известиях» статья без подписи, направленная против политики Болгарии по отношению к нам. Отрицается, что мы хотим «советизировать» Балканы и берется под защиту Турция, которую, по словам болгарских министров, мы желаем сожрать. Что это значит? Болгария вряд ли стремится напасть на нас, скорее всего она готова напасть на Турцию, в то же время пугая Турцию призраком России. Мы же этой статьей обещаем помощь Турции, заявляя, что ничего не желаем от нее.

Вчера ночью приходил скрипач Гольштейн, толстомордый, с гвардейским значком. В первый раз вижу такого человека! Если

он говорит, то на лице его все нормально, даже оживление какое-то есть, но стоит мне сказать фразу подлиннее, как он закрывает глаза, зевает — и засыпает! Он собирает монеты, ордена и образки, впрочем, ни черта в том не понимая. У него скрипка Страдивариуса, и он с нею ездит по фронту. Собственно, из-за этой скрипки мне и хотелось повидать его. Он сказал: «В скрипке не так важно дерево, как лак, которым она покрыта. Проверено, что если соскоблить лак — скрипка уже не звучит». Вот и Гольштейн вроде скрипки — когда не играет, на нем нет музыкального лака. […]

Ночью выпал снег, но к полудню обветрило и тротуары высохли. В небе клочковатые, серые тучи с серебряными краями, за которыми просвечивает пронзительно-голубое небо. Лед на Москве-реке прошел, и вода вполне весеннего глиняного цвета. От сей весенней природы, что ли, болит тупо голова…

14 апреля. Среда

Продолжаем продавать вещи. Чайный сервиз, тарелки, подарки, когда-то сделанные друзьями… […]

15 апреля. Четверг

Статья о «Лермонтове» П.Кончаловского для «Литературы и искусства».

Вечером — у Н.А.Пешковой. Леонов — поучающий даже тому, как надо писать картины. Н.А. кокетничает с ним, а он обиделся на то, что Тамара сказала, что к писателям могут ходить «изливать душу и жаждать поучения» только дураки.

16 апреля. Пятница

[…] Вечером пришел генерал Татарченко, очень наблюдательный и умный… После двух рюмок коньяка, привезенного Тамарой из Узбекистана, генерал поведал нам свою «теорию резонанса», по которой выходит, что художник создает, а публика, видите ли, резонирует. На это я возразил ему, что с подобным же успехом можно сравнить искусство с электрической лампочкой — лампочка светит, а я вижу все при свете ея. Он обиделся.

Зашел Л.Никулин, взял книжки о войне 12-го года — пишет пьесу про Багратиона. Ему все хочется попасть на глаза Хозяину — то он за Салтыкова, то за Порт-Артур, а теперь Багратион. Книги тем не менее я ему дал.

17 апреля. Суббота

Статья в «Правде» о перемене курса немецкой политики, то, о чем Л.Никулин говорил недели две, кажется, назад. Живучи, сволочи! И хитры.

Ночью позвонил Анисимов, мой комиссар из Ташкента. Оба мы обрадовались друг другу. Он приедет завтра. Работает он

теперь в Промысловом Управлении Погранвойск — водоемы, охота и все прочее. Я прямо задрожал, обрадовавшись возможности поехать на охоту. Он сказал — «я сегодня уезжаю, так как, говорят, щука идет».

Вчера генерал Татарченко сказал: «Через месяц-полтора выяснится направление удара — или немецкое, или наше. А до этого сказать ничего нельзя». […]

Вчера вечером смотрел фильм английский «Победа в пустыне». Плохо. Наш «Сталинград» не ахти что, но все же лучше. Но здесь любопытно другое показ фильма, а главное — благожелательная рецензия в «Правде» и «Известиях» одновременно. Не показывает ли это, что англичане еще что-нибудь предпримут кроме Туниса. И не потому ли торопятся немцы наступать на юге, чтобы сорвать выступление англичан?

19 апреля. Понедельник

Переписал вторую главу «Сокровища Александра Македонского». […]

Москва усиленно готовится к ПВХО. Милиционеры надели противогазы.

24 апреля. Суббота

Писал роман, статьи для радио, рассказ «Восьмушка» в «Гудок». Дни светлые, теплые. Разрешено ходить по городу, но сижу дома… Вчера собрались «Серапионы» — Федин, Груздев, Зощенко, Никитин, похожий на тайного советника, разорившегося вконец. Зощенко рассказывал, как получил в прошлую войну ордена. […] Подвыпив, стал говорить нам: «Господа!» Груздев сидел умиленный тем, что «Серапионы» живы. Федин — красовался. Я как всегда говорил вещи, которых все пугались. Словом — былое воскресло.

В воздухе войны чувствуется напряжение. Наши что-то бормочут об эстонцах — латышах, бомбят северные немецкие города, союзники тоже, видимо, к чему-то готовятся: на Кубани, говорят, идут небывалые воздушные бои. А на Спасской башне вызолотили ободья и стрелки часов, покрасили Дом Обороны и тротуары по краям размалевали белыми полосами. Опять слухи о газовой войне — на улице в соответствующих костюмах табачного цвета упражнялись дегазаторы. Москва чистенькая, просторная, красивая.

И очень хочется к морю.

25 апреля. Воскресенье

В первый день Пасхи умер В.И.Немирович-Данченко.

Вышла «Литература и искусство» с ругательной статьей о «Пушкине» последней постановке Владимира Ивановича. Напечатаны статьи Федина и Груздева. Моя хвалебная статья о

«Пушкине» отвергнута редакцией.

27 апреля. Вторник

[…] Вчера написал две статейки для радио, сегодня — три. Это в первомайский парад.

…Похоронили Немировича. Над фасадом театра овальный портрет его в виде тех овальных медальонов, которые вставлены у него в кабинете в шкафы, где хранится переписка. Пять красных флагов с крепом — и все. Ветрено, ветер закрутил флаги на палки. Люди почти прильнули к газетам, читают ноту полякам. Провожало мало народу.

7 мая. Пятница

[…] Написал два рассказа «Слово о полку Игореве» и «Восьмушка», задумал третий…

Вчера П.П.Кончаловский угощал меня — по случаю статьи моей о нем, «которая осветила мою работу откуда-то со стороны и светом необыкновенным». Радовался, что в «Буграх» хозяйство прибавилось — четыре огромных блиндажа на его усадьбе, где стояло 8 танков, «склад под картофель чудесный!».

[…] Звонят из «Московского большевика»: мы напечатаем статью, но если вы изымете похвалы Булгакову, а оставите похвалы театру. Я отказался. Пусть лучше статья не появится. И вообще, решил статьи прекратить. Это дело не жизненное. […]

Печатается роман М.Шолохова «Они сражались за родину». Веселый разговор, с войной не соприкасающийся. Заглавие — по Хемингуэю, стиль — по Л.Толстому. содержание — липа из передовой. Смотрел «Нашествие» Л.Леонова. Удручающе. Лучше всех вышел изменник — городской голова Фаюнин — остальные взяты напрокат из гражданской войны. […]

11 мая. Вторник

Дал переписать два рассказа Нине Ивановне, машинистке. «Работа так кстати, — говорит она, — у меня недавно умерла мама. От истощения. Как заснула. Я вхожу в дверь, а она смотрит. Говорить не может, нет сил. Посмотрела и закрыла глаза. Ждала. Какая сила воли! Хотела посмотреть в последний раз».

13 мая. Четверг

Переехали на дачу Сейфуллиной в Переделкино. Вернее, перетащился я с Тамарой, а завтра приедет Ник. Вл.

18 мая. Вторник

[…] Вчера начался дождь. Сегодня холодно так, что в пиджаке не согреешься. Сидим, закрыв окна, читаем Горького: превосходный писатель, широко размахивается, по-богатырски, а валит кустарник, ибо воюет не с дремучим лесом, куда заглянуть боится — как бы не заблудиться! — а с парком. И затем, странное отношение к России, будто он знает больше, чем она. И вообще,

гордыня неимоверная! Раньше мне нравились воспоминания его, а теперь они кажутся лапшой. Рассказы куда лучше, хотя система образов очень однообразна, а сентенции невыносимы. И все же человек великий — и дай нам бог побольше таких! Я не встречал другого, кто бы с такой верой верил в невозможное: возможность перестроить мир и человека. Впрочем, вера тем и вера, чтоб верить в невероятное.